

Н.В.
Станкевич

ИЗБРАННОЕ





REINHARD LAUER

Н.В. Станкевич

ИЗБРАННОЕ



Москва
«Советская Россия»
1982

Составление, вступительная статья и примечания
Г. Г. Елизаветиной

Художник *А. С. Гейнус*

Станкевич Н. В.

C77 Избранное/ Сост., вступ. статья и примеч.
Г. Г. Елизаветиной.— М.: Сов. Россия, 1982.—
256 с.,

Николай Владимирович Станкевич (1813—1840) — одна из интереснейших фигур в истории русской литературы и общественной мысли. Огромно его влияние на целый ряд людей, сыгравших большую роль в идейной и культурной жизни России, таких, как Белинский, Тургенев, Грановский, Бакунин.

Литературное наследие Н. В. Станкевича невелико, значительная часть его вошла в настоящий сборник. Особое место в книге занимают избранные письма, имеющие большой познавательный и исторический интерес, рисующие живой облик их автора, его глубокий, пронизательный, оригинальный взгляд на литературные и общественные явления 30-х годов прошлого века в России и в Европе.

C $\frac{4702010100-181}{M-105(03)82}$ 117—82

P1

Н. В. Станкевич и его духовное наследие

В 1842 году один из друзей уже умершего тогда Н. В. Станкевича задумал написать историю его жизни. Замысел вполне оправданный, если речь идет о человеке выдающемся, чей вклад в творческой или в какой-либо иной сфере человеческой деятельности велик и бесспорен. Однако так ли это в случае со Станкевичем? Около полусотни стихотворений, неплохих, но и не выдающихся по своим художественным достоинствам, трагедия, благородная по мысли, но не ставшая заметным явлением в русской драматургии, несколько небольших прозаических произведений, философские статьи — вот все, что создано Станкевичем. И в ответ уважение, доходящее до благоговения¹, со стороны людей, чей творческий потенциал оказался неизмеримо выше, чем его. Людей яркой индивидуальности, разных по общественным устремлениям, политическим и художественным установкам, но сходящихся в одном: в высочайшей оценке личности Станкевича, в признании за ним выдающейся роли в их жизни. И. С. Тургенев, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский в разное время, независимо друг от друга, в течение жизни Станкевича, сразу после его смерти или через много лет после нее писали, в сущности, одно, то, что признал о благодарностью и печалью об утрате Белинский в письме к В. П. Боткину от 5 сентября 1840 года: «...Что был каждый из нас до встречи с Станкевичем?.. Нам посчастливилось — вот и все...»². А за три и за два года до этого письма — о еще живом: «...Станкевич человек гениальный...», «Я никого не знаю выше Станкевича...»³.

Любой из тех, кто к Станкевичу был близок, не только не преуменьшал его значения, но, казалось, хотел всячески подчеркнуть, что именно в его жизни встреча с ним была особенно

¹ Признание И. С. Тургенева в его [«Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче»]. — Полн. собр. соч. и писем, т. VI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 393.

² Белинский В. Г., Полн. собр. соч., т. XI, М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 554.

³ Там же, с. 193, 247.

благотворной. «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь обязан,— писал Грановский.— Я больше других»¹.

Так пишут друзья. Но вот в 1857 году П. В. Анненков издает переписку Станкевича. Прочитав ее, не знавший Станкевича лично Л. Толстой признается, что был взволнован до слез: «Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел»².

Герцен считает необходимым сказать о нем на страницах «Былого и дум», и именно там, где речь идет о самых замечательных людях России 30-х годов XIX века.

И все, кто о Станкевиче писал и говорил, отдавали себе отчет в необычайности самой природы его влияния, казалось бы, мало чем подкрепленного реально. Белинский даже сомневался, можно ли вообще рассказать о Станкевиче, передать словами тем, кто его не знал, в чем была причина его значения и силы. «Интересно,— замечал он в одном из писем,— как напишет Фр[олов] биографию Ст[анкевича], которой, по моему мнению, невозможно написать»³.

Намек на необъясненность, тайну включало в себя и первое в русской печати прямое указание на роль Станкевича в литературной и общественной жизни России. В статье «О жизни и сочинениях Кольцова» тот же Белинский, который не верил в возможность написания биографии Станкевича, говорит о нем как об «одном из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из тесного круга близких к ним людей»⁴.

С тех пор почти все, что о Станкевиче писалось, будь то мемуары или литературоведческие исследования, почти неизбежно становится попыткой объяснить, разгадать тайну влияния и неотразимого обаяния этой личности, раскрыть причину того, почему

¹ Т. Н. Грановский и его переписка, т. II, М., 1897, с. 101.

² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 60. М., Гослитиздат, 1949, с. 274.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 107.

⁴ Там же, т. IX, с. 508.

сумел занять такое заметное место в истории русской культуры человек, ушедший из жизни двадцати семи лет, мало опубликовавший, мало стремившийся к тому, чтобы вообще какое-то место «занять», и не подозревавший, что даже его письма к друзьям и родным станут документом большой литературной, идеологической, жизненной значимости.

Николай Владимирович Станкевич родился в ночь с 27 на 28 сентября (с 9 на 10 октября н. ст.) 1813 года в деревне Удеревка Острогожского уезда Воронежской губернии. Его отец, Владимир Иванович, поручик в отставке, с 1811 года служил острогожским уездным исправником и был человеком большой практической сметки. За сравнительно короткий срок он сумел приумножить наследственное достояние и стать одним из наиболее состоятельных помещиков уезда¹. Он был женат на дочери острогожского врача Екатерине Иосифовне Крамер. Семья была большой и дружной. Незадолго до смерти, в одном из своих многочисленных писем к родителям, Станкевич благодарил их за любовь, за умение понимать своих детей, за всегдашнее стремление помочь им. Он считал, что уверенность в любви и понимании родителей многое определила в жизни его собственной, его братьев и сестер. Почти все они стали людьми заметными, особенно одаренным оказался Александр, немало сделавший для сохранения памяти о старшем брате².

В 1823 году Николая Станкевича отдают в Острогожское уездное училище, а через два года перевозят в Воронеж и помещают в частный пансион. Уже в это время проявляется всесторонняя, особенно литературная, одаренность юноши: он пишет стихи, музицирует, увлекается театром.

С 1830 года Станкевич — студент словесного отделения Московского университета, который и закончил в 1834 году.

Обаяние Станкевича, его умение привлекать к себе людей

¹ О В. И. Станкевиче см.: Бахмут В. Ф. Возродивший духом многих. — Белгородщина литературная. Воронеж, Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1979, с. 31.

² Однако не следует, как это нередко бывает даже в специальной литературе, путать Александра Владимировича с издателем переписки Н. В. Станкевича, его племянником Алексеем.

и самому в свою очередь искренне увлекаться ими, проявилось рано. По выражению М. А. Бакунина, знакомство со Станкевичем нередко начинало для человека новую «эпоху» жизни. Одной из первых таких замечательных встреч была встреча Станкевича и А. В. Кольцова. Почти ровесники (Кольцов старше Станкевича всего на четыре года), они познакомились летом или ранней осенью 1830 года в Удеревке. Кольцов пригнал туда гурт скота для откорма бардой, которую продавал отец Станкевича, владелец винокуренного завода. От одного из слуг Николай Владимирович услышал о замечательных стихотворениях Кольцова и захотел познакомиться с их автором. Станкевич сразу оценил дарование поэта-самоучки, впоследствии свел его с профессиональными литераторами, способствовал вместе с Белинским изданию первого сборника стихотворений Кольцова и настоял на том, чтобы его собственное имя в связи с этим изданием нигде печатно не упоминалось.

Душевная зоркость Станкевича, его доброжелательность и способность к активному участию проявились в истории знакомства с Кольцовым чрезвычайно явственно. Много позже один из исследователей творчества Кольцова М. Ф. Де-Пуле высказал предположение, что Станкевич сыграл по отношению к Кольцову роль мецената. Брат Станкевича, Александр Владимирович, отверг самую возможность для Станкевича чего-либо подобного. В его письме к Де-Пуле дается характеристика не только тех подлинных связей, которые существовали между Станкевичем и Кольцовым, но и — шире — вообще того, чем отличались человеческие связи Станкевича. «К покровительственным отношениям с лицами, для него почему-либо привлекательными, брат не был способен. Кольцов, человек и поэт, были предметами его любви»¹, — писал Александр Владимирович.

Думается, это качество Станкевича было одной из тех, не всегда даже осознанных причин, по которым тянулась к нему чуткая к проявлениям высокомерия и апломба молодежь. Не единственная причина, конечно, но и немаловажная, так как кружок, собравшийся вокруг Станкевича в его университетские годы, включал в себя не только К. С. Аксакова, отпрыска патриархаль-

¹ Литературное наследство, т. 56. М., Изд-во АН СССР, 1950, с. 286.

ной, состоятельной помещицкой семье, с давними культурными традициями, но и выходцев из демократической среды: сына лекаря Белинского или сына бедного священника В. И. Красова, с присущим обоим обостренным чувством необходимости защищать свое человеческое достоинство.

Кружок не был замкнутым, состав его менялся: отходил К. С. Аксаков, присоединялись новые члены: М. А. Бакунин, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский. До конца оставались близкими Станкевичу Я. М. Неверов, А. П. Ефремов, сохранялись связи с поэтами И. П. Ключниковым и В. И. Красовым. Лишь с немногими Станкевич разошелся быстро и навсегда, как с историком С. М. Строевым например.

В николаевской России, еще не оправившейся после разгрома восстания декабристов, существование кружков, подобных кружку Станкевича, оказывалось делом большой идеологической значимости, и в этом смысле роль Станкевича, сумевшего объединить вокруг себя университетскую молодежь, была велика и для его времени, и в исторической перспективе. Герцен, чей кружок в 30-е годы существовал рядом с кружком Станкевича, Герцен, который всегда высоко ценил и понимал роль подобных молодежных объединений в сохранении и развитии передовой мысли в России, писал о людях, подобных Станкевичу: «По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном»¹.

В кружках Станкевича и Герцена, «отыскивая пропавшие» после 1825 года «пути мысли», вызревала «Россия будущего»².

Кружок Станкевича не может быть назван революционным. И хотя сам Станкевич в 1833 году был вызван к начальнику корпуса жандармов Московского округа С. И. Лесовскому за письма и материальную помощь сосланному по политическому делу Костенецкому, все же он был отпущен, в отличие от того же Герцена, которого, дождавшись первого предлога, отправили в ссылку всего лишь через год.

Тем не менее оппозиционность кружка нельзя и преуменьшать. Настроения, идеи, в нем царившие, тонко были уловлены и

¹ Герцен А. И. Собр. соч., т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 11.

² Там же, с. 35.

сформулированы позже одним из его членов, К. С. Аксаковым. В своих воспоминаниях он писал: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частью отрицательное. Искусственность русского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей»¹.

Во всяком случае это «общество людей» отчетливо сознавало, что их собрания могут быть истолкованы и как политически нежелательные. Станкевич в письме к братьям и московским друзьям из Берлина от 29 октября 1837 года вспоминает, что наиболее осторожные из членов кружка старались по мере сил «законспирировать» их собрания, по крайней мере хоть тем, что завешивали окна.

Главные интересы кружка лежали в сфере философии и литературы. Они были равно близки Станкевичу. Более того, существовали в его сознании неразрывно: философская мысль пронизывала произведения художественного творчества, поэзия присутствовала в философских построениях. Для Станкевича и его друзей философские штудии не были увлечением поверх всех других дел; занятия философией стали для них жизненно важным делом, средством к постижению действительности, единственным способом, которым они надеялись эту действительность осмыслить и — более того — на нее воздействовать. Занятия философией были для них и для Станкевича не уходом от мира, но, как им представлялось, наиболее верным путем к нему. В увлечении философией Станкевича и его кружка совпала жажда знания и жажда деяния. «Все в нас кипело, — вспоминал В. П. Боткин, — и все требовало ответа и разъяснения»².

Шеллинг, Фихте, Кант, Гегель, под конец жизни Фейербах — таковы основные вехи философских увлечений Станкевича. Объяс-

¹ Аксаков К. С. Воспоминания студентства. СПб., 1911, с. 17—18.

² XXV. 1859—1884. Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 500.

няя цель своих философских занятий, Станкевич подчеркивает, что ею всегда была надежда одухотворить высокой идеей практическую деятельность. «В старые годы,— пишет он 16 октября 1834 года,— я ставил единое благо в философии... То был возраст непреодолимой жажды к знанию, возраст веры в силы ума и возраст сомнений в старых шатких верованиях. Надобно было дать пищу душе, надобно было смирить междоусобие в ее недрах, надобно было запастись побуждениями к деятельности... Приблизился возраст деятельности, а я чувствую, что многого не знаю».

Не меньшее значение при изучении философии имел и момент этический. Вопрос о назначении человека, о его месте в мире, правах и обязанностях и в тесной связи с этим — вопрос о достоинстве человека, человеческой личности оказался в числе основных. У Станкевича не было иллюзий, что возможен какой-то один, универсальный ответ на все вопросы жизни, но была надежда просветителя, что разум, знания могут послужить усовершенствованию человека и общества. «Я не думаю,— писал он М. А. Бакунину 24 ноября 1835 года,— что философия окончательно может решить все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению, она зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслию».

Страстная жажда познания не ослабляется у Станкевича даже тем, что иногда его посещали сомнения в самой возможности достичь какого-либо знания. Однако его оптимизм просветителя непоколебим. Ведь облагораживает человека, по Станкевичу, не столько результат, сколько сам процесс познания. «Если нельзя ничего знать,— восклицает он в одном из писем 1836 года,— стоит работать до кровавого пота, чтобы узнать хоть это!»

Занятия философией, равно как и занятия историей, укрепляют в Станкевиче, по его признанию, «сладчайшее верование» — «в могущество ума, одушевленного добрым чувством» (письма от 19 сентября 1834 и 24 ноября 1835 гг.).

Вместе с тем Станкевич, как Белинский и Герцен, восстает против узко утилитарного понимания значения философии для общества. С помощью философии прежде всего познаются все общие закономерности, смысл происходящего. Станкевич был в числе первых обратившихся в России к изучению сочинений Гегеля и привлек внимание к ним Бакунина, Белинского и других. И, какие бы ложные выводы ни делал Белинский из гегелевской философии в определенный период своей жизни, все же общий положительный результат обращения к гегелевской философии был несомненен даже и тогда. Лучше всего это выразил сам Белинский в письме к Станкевичу: «Новый мир нам открылся. ...Я понял... нет произвола, нет случайности...»¹ Возможность постичь закономерности исторического процесса — вот что глубоко волнует и радует Белинского-мыслителя. Правда, из философии Гегеля могут быть сделаны и выводы, носящие в высшей степени консервативный политический характер, но могут быть — Белинский и Герцен скоро придут к этому — и такие, что учение Гегеля станет «алгеброй революции».

Станкевич революционных выводов не сделал. Возможно, не успел, возможно, не сделал бы никогда. Его интерес к философии Фейербаха уже к концу короткой жизни мог быть многозначительным, но развития не получил.

Значение Станкевича не в завершении, а в *начале*. Он был первым. Аполлон Григорьев писал о 30-х годах, о Станкевиче и его кружке в этом именно аспекте, в аспекте далеко идущих последствий их философских интересов и увлечений: «...В сознании его, то есть в нашем общем критическом сознании, совершился действительный, несомненный переворот в эту эпоху. Новые силы, новые веяния могущественно влекли жизнь вперед: эти силы были гегелизм, с одной стороны, и поэзия действительности, с другой. Небольшой кружок немногим тогда, не всем еще и теперь известного, но по влиянию могущественного деятеля — Станкевича... разливал на все молодое поколение... свет нового учения. Это учение уже тем одним было замечательно и могуче, что манило и дразнило обещаниями осмыслить мир и жизнь...»².

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 386—387.

² Григорьев А. А. Литературная критика. М., Худож. лит., 1967, с. 238.

Путь своего духовного развития Станкевич делил на два этапа: до 1836 года и после него. Резкой границы между этапами нет, но можно говорить о все усиливавшейся тенденции к «практическим выводам из гегелевской философии»¹. Станкевич писал в связи с этим новым подходом к философии и действительности: «Да. Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть *жизнь идеи* в самой себе. Наука кончилась. Далее нельзя строить науки, и начинается постройка жизни...»²

Значительнейшим из собственных философских произведений Станкевича, связанных с изучением и приложением к искусству и действительности гегелевских идей, являются фрагменты «Об отношении философии к искусству». Их главной задачей было рассмотреть отношения философии и искусства к «современной нашей жизни и угадать, если возможно, их будущность».

Ко времени написания фрагментов (1840 г.) Станкевич давно уже отошел от собственно литературного творчества, хотя, несомненно, литературные интересы в разных формах продолжали оставаться для него жизненно важными.

Стихотворения Станкевича появились в печати, когда автору их не было еще и семнадцати лет. Но уже через три-четыре года, с присущей ему трезвой оценкой своих сил, Станкевич сознает, что поэзия не станет главным делом его жизни. Он продолжает писать стихи, но все чаще — шуточные, пародийные, рассчитанные не на публикацию, а лишь на чтение в кружке друзей. «...Я не поэт... я не могу звучно и стройно воплотить чувство,— писал он Я. М. Неверову 2 июня 1833 года,— не могу даже уяснить его себе, но зато у меня есть чувство, и я не опишу обеда в гладких стихах, не поздравлю с праздником начальника».

Авторская скромность приводила к тому, что Станкевич преувеличивал слабость своего поэтического дара. С историко-литературной точки зрения его творчество представляет и поныне большой интерес, а в контексте эпохи оно если и не стало явлением выдающимся, то во всяком случае не было и заурядной

¹ Маня Ю. В. Русская философская эстетика. М., Искусство, 1969, с. 248.

² Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. Биография Николая Владимировича Станкевича, М., 1857, с. 223.

литературной продукцией. Высота нравственного чувства, уровень образованности и, наконец, присущее Станкевичу поэтическое чутье спасали его произведения от пошлости, хотя и не поднимали их до уровня большой поэзии.

В области поэтического творчества Станкевич был типичным представителем литературы своего времени, и в этом, как ни парадоксально это звучит, — главный интерес его творений.

То глубокое внимание к вечным проблемам человеческого духа, которое было характерно для передовой мысли России 30-х годов XIX века и лежало в основе интереса Станкевича и его друзей к немецкой идеалистической философии, сказалось в его творчестве и его эстетических взглядах таким же пристальным интересом к романтизму. Герой Станкевича, будь то в стихотворениях, в трагедии или повести, — это личность, судьба которой определяется способностью к мощным порывам духа, к предельному напряжению внутренних сил, к полному самоотвержению во имя высокой цели.

Благо родины, чувства гражданина — подобные мотивы пронизывают творчество Станкевича. В раннем стихотворении «Надпись к памятнику Пожарского и Минина» звучат почти афоризмом слова:

Вам лучший памятник — признательность граждан,
Вам монумент — Русь святой существованье!

Станкевич гордится своей родиной, ее мощью, памятниками ее прошлого:

Склопи чело, России верный сын!
Вессмертный Кремль стоит перед тобою:
Он в бурях возмужал и, рока властелин,
Собрав века над древнею главою,
Возвысился могуч, неколебим,
Как гений славы над Москвою!

(«Кремль»)

Бой часов на Спасской башне Кремля пробуждает в поэте воспоминания о прошлом России, в этом бое ему слышится «отцов завет великий» («Бой часов на Спасской башне»).

Внутренний мир человека — «светлый храм» («Стансы»), и Станкевич преклоняется перед теми, кто сумел сохранить живую

душу в самых тяжких испытаниях («Экспромт»). Постоянная мысль Станкевича о достоинстве человека звучит в его поэзии, прощается ли он с любовью («Прости!»), размышляет ли о целительности творчества для сердца самого поэта («Утешение») или приветствует весну («Весна»).

Юношеская жажда славы, страх погибнуть в неизвестности (столь характерный для романтического героя) не чужды и Станкевичу. Обращаясь к Славе, поэт восклицает:

Все блага — прочь! С тобой лишь в жизни радость!
Мой путь — к одной мете!
Блюди ж меня, блюди! Да не погибнет младость
В пыли мирской, в бесплодной суете!

(«Желание славы»)

Станкевич не остался чужд в своей поэзии и идее противопоставления героя и толпы. Мотив одиночества избранной личности среди чуждых и непонимающих ее заурядных людей звучит в стихотворении «Не сожалею». Герой стихотворения умирает непонятым, но его смерть не должна вызывать жалости к нему: гордость, сознание избранничества все равно поставят его выше толпы даже и в смерти:

Не сожалею, он гордо вянет,
Дождись, пока его не станет,
И погляди на мертвеца,
Когда презрение проглянет
В чертах холодного лица...

Не сожалею — он не печален!
Увы! Он только одинок...
Не раз бывал среди развалин
Заброшен бурями цветок!

В стихотворениях «На могилу сельской девицы», «Грусть», «Старая, негодная фантазия», «На могиле Эмилии» поэт в тяжком раздумье останавливается перед загадкой жизни и смерти, кратковременности существования прекрасного. Он мучительно размышляет о законах, управляющих человеческой судьбой, с трагической глубиной осознает неповторимость каждой угаснувшей жизни:

— «Звезда горела средь небес,
Но закатилась — свет исчез»,

— «В небе других миллионы сияют,
Блеском отрадным взоры пленяют».

— «Сколько ни будут пленять и светить —
Той, что погибла, не воротить!»

(«Старая, негодная фантазия»)

Станкевичу-поэту знакомы романтическое раздвоение любви на земную и небесную («Две жизни»), тоска о несостоявшейся любви, но, в общем, любовная тема не стала главной в его поэзии, уступая место темам мировоззренческого плана.

Заметную роль в поэтическом творчестве Станкевича играют переводы, особенно из Гете, в стихотворениях которого Станкевича привлекает прежде всего заложенная в них глубокая философская мысль («Песнь духов над водами», «К месяцу»).

Единственное драматическое произведение Станкевича — не вошедшая в настоящий сборник трагедия «Василий Шуйский». В основу ее положена идея гражданского служения, идея долга перед страной, долга, который превыше и любви и всех других частных дел и обязанностей. Герой, юный полководец Михаил Скопин-Шуйский, — личность идеальная: безупречный воин на поле брани, безупречный рыцарь в любви, он гибнет жертвой зависти и коварства. Но, даже предчувствуя смерть от руки могущественных и коварных врагов, он отказывается спасти свою жизнь, бежав в Швецию, предав Россию.

В пафосе трагедии, в литературном воплощении ее идей явственно чувствуются элементы драматургии классицизма.

Сам Станкевич указывал на слабость и несовершенство этого своего произведения, как, впрочем, недоволен он остался и всеми остальными, искренно не считая себя «литератором». Когда публично похвалили его повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т***»¹, опубликованную под псевдонимом Ф. Зарич, он писал Неверову 26 декабря 1834 года: «...Я не ослеплен и знаю, что из многочисленных повествователей русских, которых не терпит душа моя, Зарич едва ли не худший».

¹ Стало общепринятым написание «граф Z***» однако в журнале «Телескоп», где повесть была опубликована впервые, — «граф Т***» (лишь в оглавлении журнала — Z***).

Между тем его повесть представляет собой вполне определенный интерес в ряду других русских романтических повестей.

Граф Т*** — молодой человек, пламенно ищущий истину, не жалеющий ни сил, ни жизни, чтобы познать ее. «...Смело и неуклонно шел он по пути к истине, не щадил себя, твердо выслушивал ее приговоры, грозившие гибелью лучшим его мечтаниям, не останавливался и шел вперед».

Повесть в значительной мере автобиографична. Детство героя в деревне, поступление в Московский университет буквально совпадают с фактами биографии автора. Был у Станкевича и друг, подобный Мануилу в повести, — Януарий Неверов. Но главное даже не в сходстве биографических деталей — главное в сходстве духовного пути героя «Нескольких мгновений...» и самого Станкевича. В этом смысле повесть носит итоговый характер, став завершением определенного этапа исканий Станкевича.

Граф «испытывает» жизнь. Сначала знанием: «...Душа его жаждала познаний; здесь думал он удовлетворить святому стремлению к истине, найти руководителей и спутников, заключить с ними союз братства и рука в руку переплыть житейское море, победить его бури, укротить безумные волны».

Затем он испытывает жизнь практикой: «Он решился честной и трудной деятельности посвятить жизнь свою, как прежде думал посвятить ее наукам». Станкевич и сам прошел такой же этап. Вскоре после университета он хотел попробовать себя в практической деятельности, став почетным смотрителем Острогжского уездного училища. И сам Станкевич и герой повести — оба вынуждены были быстро оставить эти попытки.

Станкевич, однако, много раз подчеркивает отличие графа Т*** от героев произведений, посвященных теме разочарования в жизни. «Он не был похож на разочарованного героя новых романов, — замечает автор, — не отворачивался от проходящих; напротив, смотрел на них очень пристально». Граф тянется к веселью, радости, людям, к любви. «Я уже сказал, — повторяет Станкевич, — что граф не походил на разочарованного героя новых романов...»

Отличие действительно есть. Оно заключается прежде всего в присущей графу Т*** страстной жажде полноты существования и в неиссякаемом интересе к жизни. Этика Станкевича отвергала уныние как состояние, мало достойное человека. Его герой продолжал искать до конца.

Оставив попытки практической деятельности, граф ищет прибежища в искусстве, в музыке.

Станкевич, обладавший тонким музыкальным вкусом, любивший и знавший музыку, дает подробный анализ «Пастушеской» («Пасторальной») симфонии Бетховена. Великий немецкий композитор пользовался особенной любовью Станкевича и его друзей. Позже Герцен, называя композиторов, которых предпочитала увлекавшаяся философской проблематикой молодежь, прежде всего назвал Бетховена. «Разумеется,— вспоминал он,— об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны... зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них...»¹

Оценки Станкевича подтверждают воспоминания Герцена. В повести, как и в своей переписке, он противопоставляет музыку «немецкой школы» (Бетховена, Моцарта, позже Шуберта) музыке так называемой школы «Россини с братиею», безоговорочно предпочитая первую.

Симфония Бетховена произвела на графа Т*** потрясающее впечатление, на время утишив, а затем обострив «диссонансы» «в душе его». Даже девушка, которую он полюбил и которая представлялась графу «гением Бетховена», не может его спасти. Душевные силы героя исчерпаны, и он умирает. Последние страницы повести построены на темах христианских заупокойных молитв: их торжественные, полные поэзии и скорби слова о «море житейском», о «тихом пристанище» усиливают печаль о рано угаснувшей жизни. Подобно многим поэтам и писателям до него и после него Станкевич использует образы

¹ Герцен А. И. Собр. соч., т. IX, с. 20.

христианской религии и слова ее молитв в поэтические цели.

Богатство философской проблематики произведения Станкевича позволяет отнести «Несколько мгновений из жизни графа Т***» к той жанровой разновидности, которую принято называть философической повестью и о которой учитель Станкевича, его университетский профессор Н. И. Надеждин, писал, что такая повесть «представляет избранный момент жизни как развитие идеи, как решение умозрительной задачи»¹.

Философичен и набросок «Три художника». 24 июля 1833 года Станкевич признавался Неверову: «Я... писал... это, чтобы выразить мысль мою о родстве искусств...»

Собственная художественная практика быстро перестает удовлетворять Станкевича, и не только потому, что он не находил у себя дара творчества. Способствуют этому и его эстетические взгляды. Одну из главных своих задач Станкевич видит в поисках и выработке «простоты», жизненной и художественной. «В целом эстетический комплекс Станкевича, образованный пересечением повседневного и абсолютного,— пишет современный исследователь философских и эстетических взглядов Станкевича Ю. В. Манн,— был весьма типичным явлением, одной из переходных, промежуточных форм от романтического к реалистическому этапу сознания»². Завершить стадию «перехода» Станкевич не успел.

К 1837 году здоровье Станкевича заметно ухудшается. Мучают его и душевные сомнения. Познакомившись с семейством Бакуниных, он вскоре становится женихом Любови Александровны Бакуниной, сестры своего приятеля, будущего известного революционера-анархиста, а тогда страстно увлекавшегося изучением философии офицера в отставке Михаила Александровича Бакунина. Сестры Бакунина пользовались огромным уважением в окружении Станкевича. Белинский писал, что «увидел» в них «осуществление» своих «понятий о женщине»³. Восхище-

¹ Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., Худож. лит., 1972, с. 322.

² Манн Ю. В. Русская философская эстетика, с. 208.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 173.

ние душевным благородством и изяществом девушки Станкевич принял за любовь, но очень скоро понял ошибку. Однако слабое здоровье Любови Александровны, сознание Станкевичем своей вины не позволили ему признаться в ошибке сразу. В 1838 году Любовь Александровна скончалась, так и не узнав об этом, хотя, вероятно, смутно сознавая, что любимый ею человек в действительности не отвечал ей взаимностью.

Врачи настаивали на отъезде Станкевича за границу для лечения. Внешне всегда спокойный, любящий веселье, готовый пошутить сам и откликнуться на шутку, Станкевич внутренне глубоко переживал, что болезнь мешает ему осуществить все то, что было задумано. «...Хотелось бы сознать,—пишет он Неверову,—что ты живешь не напрасно, что ты совершишь подвиг...» А болезнь уносит силы и надежды. «Убийственное для меня мысль,—пишет он о себе тому же адресату,—болезнь похищает у тебя душевную энергию, ты ничего не сделаешь для людей».

Тем не менее оптимизм, присущий светлой натуре Станкевича, брал верх. Станкевич всегда был готов заметить, оценить все то, что казалось ему хоть в какой-то мере хорошим. «...Поменьше думайте о своем несовершенстве,—убеждал он Л. А. Бакунину в письме от 15 февраля 1837 года,—побольше обо всем, что есть прекрасного в мире...»

Станкевич уезжал лечиться, но в его планах преобладали замыслы о дальнейшем образовании, о лекциях берлинских профессоров, о знакомстве с новыми людьми и странами. Его переписка с оставленными на родине друзьями и близкими, и прежде интенсивная, занимает все большее место в его жизни.

Письма Станкевича — незаурядное явление в русской культуре. «Нет сомнения,—писал по прочтении их Добролюбов,—что большую часть писем Станкевича прочтут с удовольствием все, кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах и вышедшее преимущественно из того кружка, средоточием которого был Станкевич. [...]

Чтение переписки Станкевича так симпатично действовало на нас, нам так отрадно было наблюдать проявления этого

прекрасного характера; личность писавшего представлялась нам, по этим письмам, так обаятельно, что мы считали переписку Станкевича окончательным объяснением и утверждением его прав на внимание и сочувствие образованного общества»¹.

По письмам мы можем проследить не только процесс самоосознания личности писавшего; переписка Станкевича дает огромный материал по истории русской общественно-литературной мысли.

Бесценно и психологическое содержание писем, приоткрывающих нам внутренний мир людей той эпохи.

Рядом со Станкевичем возникают адресаты его писем: Белинский, Грановский, Бакунин, Неверов, Тургенев, Фроловы, с особенностями их мировоззрения, их исканий. Все они видели в Станкевиче человека, способного понять их сомнения, поддерживать в пору душевной сумятицы. И он был вполне откровенен в своих письмах к ним, передавая свои наблюдения, размышления, чувства.

В 30—40-е годы XIX века письма нередко переставали быть простыми носителями информации: они становились средством, помогающим сформулировать только что возникшую идею, обобщить мелкие, казалось бы, факты личной жизни и увидеть их в философском, общественном, литературном контексте.

Письма, дневники не были рассчитаны на чтение только одного человека: в них видели нечто общинтересное, личный опыт должен был стать достоянием многих. «Мне приходила охота вести свой журнал,—признается Станкевич 9 марта 1835 года,—многие чувства мои могли быть поучительны для того, кто станет его перечитывать после меня...» Вполне относится это и к письмам.

Письма Станкевича удивительны простотой и изяществом выражения чувств и мыслей. Ему удалось избежать того, чем грешил в начале 30-х годов даже такой блистательный мастер эпистолярных жанров, каким был Герцен: излишней романтической экзальтации, иной раз чуть выпрених фраз. Станкевич всегда прост, доброжелателен, часто шутлив.

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 2. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 381—382.

Нет в его письмах и излишне скрупулезного анализа своих и чужих чувств, который был свойствен некоторым из его друзей, особенно Михаилу Бакунину. Много позже А. Белый упоминал о «многостраничных письмах по всем правилам гегелевской философии», в которых Бакунин «анализировал интимные отношения Станкевича»¹ и своей сестры. В словах Белого нет преувеличения. Уже Белинский резко восставал против бестактного вмешательства в чужой внутренний мир и излишнего обнажения своего.

Станкевичу не свойственны крайности и здесь. Его письмам присущи благородные, сдержанные пропорции откровенности и анализа, рассказа о себе и внимания к другому.

Уже при жизни Станкевича его письма воспринимались наиболее чуткими из его адресатов как своеобразные произведения литературы. Белинский писал о характеристике Грановского, данной Станкевичем в одном из писем (до нас не дошло): «Портрет Грановского верен как нельзя больше: ты великий живописец!»²

Эпистолярное мастерство Станкевича постоянно совершенствовалось и в последний период его жизни достигло очень большой высоты. Письма 1840 года к Фроловым, Тургеневу, несомненно, «шедевры в своем роде...»³, а послания к Грановскому, по словам восхищенного Герцена, «изящны, прелестны»⁴.

Читая письма Станкевича, мы отчетливее, чем обращаясь к его стихотворениям, повести или статьям, понимаем причины его значения для современников и для нас. Они прежде всего — в значительности его идей, в непогрешимости вкуса, в незнании Станкевичем духовного застоя. «Гениальность» Станкевича не только, вернее, не столько в нравственных качествах его личности, — справедливо отмечает один из исследователей «феномена Станкевича». — «Огромная субстанция», Станкевич привлекал своих современников и качествами своего ума, сумевшего

¹ Записки мечтателей, 1922, № 6, с. 31.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 377.

³ Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина, М., 1915, с. 647.

⁴ Герцен А. И. Собр. соч., т. IX, с. 44.

подчинить своему авторитету таких людей, как Белинский, Бакунин, и во многом опередившего свой век»¹.

Но суть дела, конечно, не в «подчинении». Возможность его всегда отрицал и сам Станкевич и все его знавшие. Характерны в этой связи отношения Станкевича и Белинского, вырывающиеся из их переписки, из их писем друг о друге.

Нередко говорилось при жизни Станкевича, а еще чаще после его смерти, что многие идеи ранних статей Белинский заимствовал у своего друга. Действительно, если прочитать письма Станкевича и — параллельно — произведения Белинского того же времени, легко можно обнаружить немало совпадений. Так, идентично отношение Станкевича и Белинского к поэзии В. Бенедиктова как к воплощению вычурности и претенциозности. Одинаково неприятие произведений А. Тимофеева. Но равно восторженна у Станкевича и Белинского оценка Гоголя. 4 ноября 1835 года Станкевич писал Неверову о творчестве Гоголя, приветствуя в нем то же, что будет восхищать и Белинского: «Это истинная поэзия действительной жизни...»

Все так. И однако именно Станкевич отрицал какое-либо воздействие со своей стороны на Белинского даже в мелочах. Отвечая на мнение, что он якобы контролирует написанное Белинским, Станкевич писал 19 октября 1836 года Неверову: «Я — цензор Белинского? Смело скажи всякому, кто говорит это, что он говорит вздор. Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе», подвергал цензорству Белинского в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам».

Белинский оставил немало свидетельств своей психологической проницательности по отношению к Станкевичу. Так, ему принадлежит верное и глубокое толкование основ его религиозности. «...Твой мистицизм для меня есть не слабость ума, испугавшегося истины,— писал Белинский Станкевичу,— а трепетное ощущение таинства жизни...»².

¹ Архангельский К. П. Н. В. Станкевич. — Известия Северо-Кавказского ун-та, т. I, 1930, с. 98—99.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 349.

В письмах Станкевича звучат и ноты осуждения Белинского. Они постоянны, когда речь заходит о нетерпимости критика, о слишком большой, по мнению Станкевича, резкости его суждений. «Я не одобряю слишком полемического тона у Белинского,— писал Станкевич 14 июня 1835 года,— но это душа добрая, энергическая, ум светлый...» И в письме к самому Белинскому, после совета всячески расширять свое образование, изучать языки и философию, добавляет: «...Тогда будь чем хочешь, хоть журналистом, хоть альманашником, все будет хорошо, только будь посмирнее». Но главной всегда оставалась ощущаемая обоими близость. Поэтому Станкевич решительно писал М. А. Бакунину 7 июня 1835 года: «Отношения мои с Белинским такого рода, что я все труды его, какие бы они ни были, стану разделять больше или меньше».

Причины схождения многих мнений Белинского и своих Станкевич видел в глубоком взаимопонимании, которое существовало между ним и критиком во взглядах на искусство. «Мы так хорошо понимаем друг друга,— писал Станкевич о Белинском 30 января 1837 года,— я во многом так ему сочувствую, что в иные минуты, право, бывает одна душа с ним».

Станкевич умел выявить лучшее в каждом человеке, с которым общался, и с каждым он говорил, учитывая его индивидуальные особенности. Тон его писем к Бакунину отличается от тона писем к Белинскому, а письма к Грановскому непохожи на письма к Неверову, хотя оба были его ближайшими друзьями.

Письма Станкевича отличаются богатством содержания и разнообразием форм. В них и размышления, и веселая шутка, и откровенный рассказ о «домашнем быте души», как говорил он о своем внутреннем мире. Некоторые из писем представляют собой, в сущности, путевые очерки, в которых автор рассказывает о Берлине, Праге, Риме и других городах, в которых побывал. Другие — очерки нравов и характеров. Третьи — обзоры театральной и музыкальной жизни тех городов, где жил Станкевич. Четвертые — лирические воспоминания о детстве, об оставленных на родине близких. Во многих — синтез всего перечисленного. И пишет ли Станкевич о философии, о литературе,

музыке, театре или живописи, всегда его взгляд отличается свежестью, умением заметить главное и рассказать о нем.

Замечательно письмо Станкевича к Грановскому от 29 сентября 1836 года. Это история духовного развития Станкевича, его нравственных исканий, его автобиография, изложение его credo. «Теперь есть цель передо мною,— пишет Станкевич,— я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, [...] его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать».

Со всей очевидностью обнаруживает переписка и те проблемы, не только от решения, но и от постановки которых Станкевич уклоняется. К ним относится прежде всего вопрос о социальном устройстве общества. Знаменательна и любопытна перекличка Станкевича — через десятилетия — с Достоевским и словами Ивана Карамазова о пролитой в результате жестокости и несправедливости «слезинке ребеночка», из-за которой он, Иван, отказывается от «высшей гармонии». В письме от 7 апреля 1840 года к Е. П. и Н. Г. Фроловым Станкевич передает свой разговор с художником Марковым, чрезвычайно близкий по теме к разговору Ивана с братом. «Марков был на днях у меня,— рассказывает Станкевич,— и закидал... философскими вопросами и сомнениями, на которые было ему трудно отвечать. [...] Я никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего. Но его требования не эгоистические — нет! существования одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы». И Станкевич признается: «Тут трудно отвечать что-нибудь...»

Станкевич не пошел дальше просветительских идей, мысли о революционных путях преобразования общества были ему чужды, но в своей сфере, со своих позиций просветителя он по-своему был бескомпромиссно требователен к миру и людям, касались ли эти требования личной жизни или общественной сферы. «Если жизнь не полна, если наслаждение бегло и непрочно — значит — мы не так живем», — замечает он Неверову 11 октября 1837 года.

«Человеческая жизнь,— пишет Станкевич 8 марта 1838 года,—

есть разумная деятельность и вытекающее оттуда наслаждение, любовь».

Болезнь помешала Станкевичу реализовать свою «потребность гражданской деятельности». Оборванной оказалась и любовь Станкевича. Лишь на короткий срок, перед самой смертью, судьба свела его с любимой женщиной, В. А. Дьяковой, сестрой Л. А. и М. А. Бакуниных. Но во всех коллизиях его короткой жизни одно оставалось для Станкевича не подлежащим даже сомнению, когда речь шла о нем самом и тех, кого он считал своими единомышленниками, — требование всегда беречь свое человеческое достоинство. Это требование пронизывало его жизнь, творчество, искания. Только здесь он, человек мягкий и деликатный, не допускал уступок, даже если бы они вели к счастью. «Впрочем, — писал он Бакунину 8 ноября 1835 года, — счастья ты, верно, захочешь под одним условием, чтоб оно не мешало тебе быть человеком». Сам он хотел только такого счастья.

25 июня (7 июля) 1840 года Станкевич, лечившийся тогда в Италии, скончался. Потрясенный смертью друга, Белинский спрашивал: «Зачем родился, зачем жил Станкевич? Что осталось от его жизни, что дала ему она?»¹ Добавим: что дает нам теперь его жизнь, его творчество, его письма?

Сам Белинский и все те, кто знал Станкевича, начали отвечать на этот вопрос. Продолжали Чернышевский, Добролюбов, Толстой. Мы можем только присоединиться к их мнению.

Станкевич оставил нам в наследство культуру мысли, чувства, культуру общения. Ценность этого — непреходяща.

Г. Елизаветина

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 547.

Стихотворения.
Проза

Надпись

к памятнику Пожарского и Минина

Сыны отечества, кем хищный враг попан,
Вы русский трон спасли,— вам слава достоянье!
Вам лучший памятник — признательность
граждан,
Вам монумент — Руси святой существованье!

[1829]

Воронеж

Экспромт

(по прочтении стихотворений Козлова)

С прекрасною и твердою душой,
С покорностью прияв судьбы веленья,
Умел он вознестись над грозною судьбой
И в бедствии нашел источник вдохновенья.

[1829]

Воронеж

Луна

Подражание французскому

Как бы стыдливая краса
Сребристым облаком прикрыта,
Луна взошла на небеса:
Земля сиянием облита.
И дочь счастливая небес,
На светло-яхонтовом лоне,
В огнисто-золотой короне
Течет, златит и дол и лес,
Блестящей свитой окруженна.
Скажи ж, прекрасная луна,
В тончайший облак облеченна,
Что в небе делаешь одна,
Скрывая кроткое сиянье?
Идешь ли ты, как Оссиан,
Грустить в убежище страданья —
О дочь счастливых неба стран! —

И там сокрыть красы младые?
Несчастье знаемо ль тебе?..
Но вот в лазурной вышине,
Одета в ткани золотые,
Катишься по вершинам гор,
Собой пленяешь снова взор!
Теки же долее над нами
И наши взоры восхищай!
И нас до утра озаряй
Твоими кроткими лучами!

[1829]
Воронеж

Стансы

Прекрасно божие создание,
Пленителен надзвездный мир,
Когда в звездах горит эфир
И льет серебристое сиянье
Небес красавица — луна, —
Священным жаром вдохновенья
Тогда душа моя полна!

Ты к смертным благ, творец вселенной,
И души их — твой светлый храм!
Огонь, рукой твоей возжженный,
Пылает в них — и к небесам
Куренье всходит благовонно,
Святых сердец гремит тимпан,
И мир, хвалы твоей оргán,
Тебе поет хваленье стройно!

С надеждою подъемлю длани,
Паду во трепете лица,
Молю предвечного отца,
Чтобы смирил душевны брани,
Чтоб в сердце утвердил покой,
Чтоб не терновою стезей
Чрез бурную прошел я младость,

Молю! И слезы умиленья
Струею льются по щекам;

Святого полный вдохновенья,
Я волю дал моим слезам —
Быть может, жар мольбы усердной
Отцовским сердцем примешь ты!

Творец! священной десницей
Ты отвращаешь козни злых,
Ты милуешь рабов твоих
И награждаешь их сторицей;
Любовь к тебе свята, чиста;
Ты мир блаженством наполняешь
И жизни светлые врата
Рабам покорным отверзаешь!

[1829]

Воронеж

Прости!

Прости! Тебе моей не быть!
С твоей холодной красою,
С твоей бесчувственной душою
Ты не назначена любить.
Тебе неизвестен нежный пламень;
Один обман — твой страстный взгляд,
Улыбка — нектар, сердце — камень,
А поцелуй — сладкий яд!
Прошла пора очарованья,
Прошли в груди моей терзанья!..

Знавал я радость и любовь,
Живилось сердце упованьем,
О нем любви пылала кровь,
Когда с несбыточным желаньем
Тебе навек отдался я
И, полный страстным упоеньем,
С самолюбивым увереньем
Твердил в душе: она моя!

Я долго сею жил мечтою,
Я долго по тебе грустил,
Страдал, тобой, надеждой жил, —
Но ты смеялась надо мною!..

Теперь... прости! прости навек!
Любви мне тяжело воспоминанье!
Не вырвешь более признанья;
Но сердца горестный упрек
Тебе напомнить лишь заставил
О том, что было... Полно! я
Свой жребий небу предоставил...
Прости! ты больше *не моя!*..

[1830]

Воронеж

Отрывки из стихотворной повести

1

Прекрасны звезды золотые,
Когда по синим небесам
Они лиют в часы ночные
Лучи алмазно-огневые;
Прекрасен блещущий сапфир
В короне пышного султана;
Прекрасно небо Персистерана —
Темно-лазуревый эфир;
Милей божественные взгляды
Елены — чуда красоты;
Она жива — как лёт мечты,
Как бег пленяющей наяды,
Мила — как чистая любовь;
Власы как лен, заря — ланиты;
Заныла грудь, зажглася кровь —
И брат и горе позабыты...

Зачем ее увидел ты,
О сын неопытный природы?..
И за неверные мечты
Отдал всё счастье свободы?
Зачем души своей покой
Сменил на рой надежд игривых,
Живых, пленительных — но *лживых?*
И юной пламенной душой
Навек отдался неизвестной?
Зачем?.. но поздно.

.

Вечернею оделись мглою
 И лес и чистые поля,
 И предана давно земля
 Ее урочному покою.
 Предвестник ночи, в небесах
 Алмазный Вesper появился,
 Рубины в пламенных лучах
 Рассыпались — и озарился
 Огнями ночи небосклон.
 И царь их — светлый месяц юный —
 Вперен в таинственные думы,
 На огненно-прозрачный трон
 С немим величием восходит,
 Плывет в эфир от выси гор
 И на землю серебристый взор
 С безмолвной грустию наводит.
 Едва катит струи поток,
 Едва душистый ветерок
 Листы шиповника колышет,
 И воздух ароматом дышит.

Вот чуть приметною стопой
 Елена по росе серебристой
 Идет в раздумьи

[1830]

Воронеж

Утешение

С душою, полной упования,
 Я скромно в море жизни вплыл —
 И всем прекрасным ожиданиям
 Младое сердце отворил.

С какою верой простодушной
 Боготворил я этот мир,
 Стремленью чувств молодых послушный —
 Веселье было мой кумир.

Я дружбе чистые объятья
От сердца чистого открыл;
Все были мне друзья и братья,
И я всегда им верен был.

Но скоро взгляды милой девы
Зажгли огонь в груди моей,
И лиры томные напевы
Мне были дар ее очей.

И жар святого песнопенья
Сильней горел в груди молодой;
И дух мой жаждал вдохновенья,
Как пищи — сладкой, неземной.

Но скрылися очарованья,
Престал надеждам верить я,
Не совершились ожидания,
И разбредились мои друзья.

И всё, что жизни прежде льстило,
Что оживляло дни мои, —
Она, она мне изменила!..
И в сердце холодном нет любви!..

Лишь ты, святое вдохновенье,
Одно осталось верным мне,
Блаженства память, утешенье
Ты мне приносишь в тишине!

И успокоен дух мой юный
В беседе пламенной с тобой;
Возьму цевницу я, и струны
Кропятся сладостной слезой.

[1830]
Воронеж

Весна

Жизнь на празднике природы,
Цвет и зелень на полях,
Неба радужные своды

Рдеют в солнечных лучах,
И текут, красуясь, воды.

Всё цветет, благоухает,
Всюду радость разлита;
В сердце пламень проникает,
И волшебная мечта
Дух невольно увлекает.

Вновь родятся упования,
Вновь душа отворена
Обольстительным желаньям,
И, как легкий призрак сна,
Проявились воспоминанья.

Где же всё, что сердцу льстило?
Чем питалась мечта?
То, что к жизни приманило?
Без чего она пуста,
Как безмолвная могила?

К славе гордое стремленье,
Упования юных дней,
Жар священный вдохновенья,
Вера полная в людей
И восторгов упоенья? —

Погубил все ранний опыт,
Рано пал на сердце хлад!
Зависти презренный шепот,
Добродетель без наград...
Но — откинем тщетный ропот!

Все бессильны укоризны,
Победить судьбу — кто мог?
Утешенье в бурной жизни
Мне да будет — вера, бог
И любовь к святой отчизне!

Прочь же грешные роптанья,
Бог — властитель над душой,
Погребу мои страданья,
И, быть может, вновь со мной
Примирятся упования.

Не погибнет в бурях младость,
Западет во глубь души
Вновь потерянная радость
И в нерушимой тиши
Я признаю рока благодать.

Прилетай же, наслажденье!
Тяжкий мрак души рассеи.
Посели мне в грудь терпенье
И отвагу юных дней! —
Начинай перерожденье!

Жизнь на празднике природы,
Цвет и зелень на полях,
Неба радужные своды
Блещут в солнечных лучах,
И текут, красуясь, воды.

[1830]
Воронеж

Элегия

Когда на западе горит
Последний солнца луч
И ярким светом золотит
Края угрюмых туч;
Когда безмолвная луна
Встает печальна и бледна
От сумрачных полей,
И звезды в небесах горят, —
Люблю недвижный взор вперять
В эфирный океан.

И мнится мне, что та страна
Знакомое хранит;
Что там, где теплится луна,
Мой брат или друг сокрыт;
Что на лазурных небесах
Сияют в пламенных лучах
Погибшие давно,
И души их в тиши ночной
С моей беседуют душой
Невнятно и темно!

Ей не поведают оне
Тайн жизни неземной
И ни о том, что в их стране,
Над бедною землей.
Но их немая речь во грудь
Нашла прямой и чистый путь;
Отраднa мне она!
Внимать ее готов и рад,
Тогда не помню я утрат,
Душа моя светла!

Когда на западе горит
Последний солнца луч
И ярким светом золотит
Края угрюмых туч;
Когда вечернею зарей
Зефиров свежих резвый рой
Разносит аромат;
Когда луна идет с полян,—
Люблю в эфирный океан
Я взоры устремлять.

[1830]
Воронеж

Избранный

Дня румяное светило
Ярко запад озлатило;
Чуть катит струи река:
Разноцветною грядою
В ней трепещут облака...
Вот полнеба, как каймою,
Опоясалось зарею;
Вesper в пламенных лучах
Загорелся в небесах.
Над зелеными холмами,
Ночи светлая краса,
Месяц всплыл; его лучами
Озарились небеса.
Он на землю взор унылый —
Землю взор осеребрил;

На поток — поток игривый
Заблистал, заговорил.

Тихо всё. Серебро и золото
Пышно блещут на водах,
Разлилися ароматы
В очарованных полях.
Вдруг над влагой зашумело,
Скрылась в облаке луна;
Небо в мраке просветлело,
Запылало, загремело...
И, как прежде, тишина
Землю спящую одела.
От полночи, от полдня,
От заката, от восхода
Волны шумные народа
С диким ропотом текут
Через дебри, через горы,
Возводя на небо взоры,
Притекли, чего-то ждут...

Вот опять луна золотая,
Из-за облак выплывая,
Кроткий свет на землю льет;
В роще соловей поет;
И опять серебро и золото
Пышно блещут на водах,
Веют снова ароматы
В очарованных полях.

Но толпы безмолвны, тихи:
В область светлую луны
Их глаза устремлены;
Пришлецы уныло-дики!
Иль не мил земной приют?
Иль чего от неба ждут?

В вышине блеснуло, — клики
Раздались: *«Гряди, великий!
Светлый трон тебе готов»*.
И на грядках облаков,
Пересыпанных звездами,
Льются волны за волнами
Ясных, пурпурных лучей:

Заиграли, засияли
Средь эфирных областей,
Солнце светлое соткали.

Но кому же сей престол,
Кто на нем воссядет смело?
Гром по небесам прошел,
Глухо в дебрях зашумело!
«Он грядет!» — я глас внимлю;
Чью ж бессмертную главу
Пышно радуга одела?
Перед кем во прах падет
Полный радости народ?
Кто сидит на светлом троне
В семицветной сей короне?
Чей небесный, кроткий взор
Сладко душу пронизает?
Загремел народа хор,
Целый мир ему внимает:
Тих стоит угрюмый бор;
В брег не бьют седые волны,
Цепи лишь кремнистых гор,
В прах пред ним склоняясь дольний,
Предают одна другой
Славословья глас святой.

Х о р н а р о д а

Цары! сильна твоя держава,
Тверд, блистателен твой трон,
Чад твоих любовь и слава,
Правда, милость и закон
Да пребудут век с тобою!
Да венец твой процветет,
Просияет неземною
И нетленной красотой;
Да из рода в дальний род
Слава дел твоих преидет!

И *избранный* с умилением
Славословья глас внимал:
Он, казалось, с молением
Взоры к небу обращал.
Вдруг покрыли небо тучи,
Вихорь шумный набежал,

Поднимает прах летучий;
Закачался лес дремучий,
Ветр в полях забушевал;
Небо молнии раздрали,
В тучах громы рокотали,
Бездна целая огня
В мрачных высях буревала;
Устрашенная земля
В основаньи трепетала

В тучах мрачных и громах,
В огнецветной колеснице,
Под кровавой багрянницей,
Ярой бури на крылах
Мчится дух ужасный брани;
Меч в могущественной длани,
В грозном взоре огонь и кровь.
Милосердие, любовь —
Все, что близит человека
К порождению богов, —
Мнилось, в грудь его от века
Зарониться не могли.
Он над племенем земли
Ужас мчит и разрушенье
За погибельной рукой;
Вот он стал; концы вселенной
Вторят голос громовой.

Д у х б р а н и

В молньеносной колеснице,
Ярой бури на крылах,
Я могучею десницей
Обращаю в дольний прах
Царства мира и народы.
Меч и гибель — мой закон
Над законами природы,
А вселенная — мой трон.
Выси гор, морей пучину
Я с грозой перелечу,
На противных гибель кину.
Кровью меч мой насыщу;
Смолкнет слабый глас гордыни,
Треснув, в прах падут твердыни
Под могучею рукой;

Тщетны слезы и моления:
Над противною страной
Опочиет гробовой
Гений бед и разрушенья.

Хор духов

Тщетны слезы и мольба
Над могучим духом брани:
Непременен, как судьба,
Мановеньем сильной длани
Он подвигнет молний строй —
Всюду пламень истребленья!
И над целою страной
Опочиет гробовой
Гений бед и разрушенья.

Дух брани

И протекши, как гроза,
Покорив перуном землю,
Зажигаю небеса,
Глас громов хвалебный внемлю;
Но, наскучив тишиной,
В грудь царей земли влетаю,
Жаждой славы истомляю,
Власть даю им над землей;
И питомец духа брани,
Как всесильный бог земной,
Восседит, с перуном в длани,
Над плодом завоеваний.

Хор духов

Славен сын кровавой брани:
Он, как сильный бог земной,
Восседит с перуном в длани
Над плодом завоеваний.

Дух брани

Ты, могучий! чья рука
Освятилась скиптром царства;
Гром прими, рази коварство,
Устрашай весь мир; в века
Передам твою я славу,
Возвеличу пышный трон,
Укреплю твою державу;

Ты вселенной дашь закон,
Завоюешь землю, море,
Кто ж тебе противный — горе!

Х о р д у х о в

Прими, могучий царь,
Духа брани дивный дар:
Он тебя покроет славой,
Возвеличит пышный трон,
Укрепит твою державу;
Ты вселенной дашь закон,
Завоюешь землю, море,
И противным — горе, горе!

Страшно, дико в небесах
Громы ярые рокочут;
Огонь блистает на крылах;
Дебри темные грохочут:
За ударом вслед удар!
Облеченные в пожар,
Духи шумною грядю
Мчатся, вьются над землею.
В страхе, в трепете народ
Пред *избранным* упадает,
На коленях слезы льет;
Но великий созерцает
Без боязни сонм духов:
В небе молнии блещут реже;
Тише, тише гул громов;
Расколмились — и как мрежи
Стали гряды облаков.
Царь взирает светлым оком —
Загорелась над востоком
Утра юная звезда;
Веселей заколебалась
В берегах своих вода,
Зарябела и помчалась.
Кто ж, эфира по зыбям
В ризы утра облаченный,
Доблий, царственный, смиренный,
Встречу дня златым лучам
Мчится с кротким, ясным взором?
Блещет радость на челе;
Небо светло. На земле.

Все творенье стройным хором
Духу мира гимн поет,
Радость в дар ему несет,

Общий хор

В ризы утра облаченный,
С ветвью звездной на челе,
Прииди, благословенный,
Мир посеять на земле:
Да смиритсЯ горделивый!
Да познает благодать злой!
Орошeнны кровью нивы,
Как прохладною росой,
Освежи своей слезой!
Залечи народов раны,
Снова троны укрепи
И святую длань прости
Над могучим, над избранным!

Дух мира

Небом данный царь земли!
Духу мира ты внемли:
Он не жаждет битв и крови;
Не прострет он скиптр златой
Над разрушенной страной;
В царстве правды и любви,
Там, где милость и закон,
Где небес прообразитель —
Милосердье, — там мой трон
И любимая обитель.
Я кровавою рукой
Не предам тебе вселенной;
Ты не будешь бог земной,
Горем мира вознесенный:
Я бездушному мечу
Света участь не вручу;
Ты не будешь враг природы,
И у ног твоих народы
С рабским страхом не падут;
Ни стeнaнья, ни железы,
Ни убийственные грезы
Дух спокойный не смятут.

Но с слезой в очах отрадной,
Освященный, благодатный,
Счастливый любовью чад,
Сердцем чист, душою светел,
Тих и свят, как добродетель,
Сладко будешь созерцать
Добрый плод твоих деяний.
Крови чужд, завоеваний,
Не померкнет твой венец;
Смерти глас забудешь бранный,
Неба сын драгой, избранный
И отчества отец!

Х о р

Не померкнет твой венец,
Неба сын драгой, избранный
И отчества отец.

С полным сердцем, умиленный
Духу мира царь внимал —
И, казалось, скиптр вселенной
Так его не утешал.
Слезы чистою росой
Заструились из очей;
Под короной неземною,
В блеске огненных лучей,
Он, как светлый искупитель,
Кротким взором созерцал
Славы царственной обитель,
Свой народ — и сей припал
Со слезами и молением
Освященного к стопам.
«Не грозой, не разрушеньем
Я величие создам
Мне врученного народа, —
Царь изрек, — нет, меч врагам!
Охранится им свобода;
Я приму его из рук
Громоносца *духа брани*,
Мирт возьму из *мирной* длани,
И громовый славы звук
Возвестит в пределах мира
Счастье скромной тишины,
Сладкий плод златого мира —

Благоденствие страны,
Мне врученной провиденьем».
Он умолк — и с восхищеньем
Каждый подданный лобзал
Кроткую его десницу,
И, виясь кругом станицей,
Шумный хор духов вещал:

Х о р д у х о в

Царь! сильна твоя держава,
Тверд, блистателен твой трон.
Чад твоих любовь и слава,
Правда, милость и закон
Да пребудут век с тобою!
Да венец твой процветет,
Просияет неземною
И нетленной красотой,
Да из рода в дальний род
Слава дел твоих пройдет.

[1830]

Желание славы

Палящий огонь сокрыт в груди моей,
Я напоен губительной отравой,
Во мне бушует вихрь страстей,
И кто смирит его? — Одна десница славы!

Небесная! скажи: узнаю ль я,
Бессмертия святые наслажденья?
Пред взорами веков, при кликах удивленья
Усыновишь ли ты меня?

Все блага — прочь! С тобой лишь в жизни
радость!

Мой путь — к одной мете!
Блюди ж меня, блюди! Да не погибнет
младость
В пыли мирской, в бесплодной суете!

[1830]

Филин
(Перевод)

Ночной вещун! буди твои леса,
Долины оглашай могильным криком;
Густеет мрак, и в тучах небеса —
Пой смерть, пой смерти! в твоём зываньи

диком,

В ужасных песнях средь ночной тиши
Есть тайная отрада для души;
Твой праздник — смерть; тебя страшат живые,
Дни гибели — то дни твои златые.

Дети персти брэнной, пробуждайтесь!

Одр покоя бросьте — и внимать!

Прозвучал кому-то час последний:

«Пробуждайтесь!» — прокричал вещун.

Когда из недр могилы в час полночной

Ее печальный житель восстает,

Когда земля трепещет и гудёт,

Колеблема его стопою мощной, —

Лишь ты один, с любовью, крылом

Подъяв его могильные покровы,

Песнь гибели поешь над мертвецом,

Ласкаешь лик его суровый.

Дети персти брэнной, пробуждайтесь!

Одр покоя бросьте — и внимать!

Прозвучал кому-то час последний:

«Пробуждайтесь!» — прокричал вещун.

Твой зоркий глаз в дали читает смутной,

Узришь ли смерть — и, крылья расширив,

Летишь туда, где гость земли минутной,

Земной свой жребий тихо совершив,

Отшел к отцам; над свежелою могилой

Ты вновь поешь, ужасный бард ночной,

И внемлет вечность глас унылый

И страннику готовит кров родной.

{1830}

Москва

Не сожале́й

Va, l'homme qui vit seul ne saurait
être heureux.
La solitude encore rend nos maux
plus affreux.

La mort d'Abel, acte 2¹

Ты говоришь: «Жалей, он губит
В кругу невежд свои мечты:
Толпа прекрасного не любит...
Секирой острой клеветы
Она безжалостно изрубит
Его заветные цветы!»

Не сожале́й, он жертва чести...
Но не дерзнет толпа невежд
Врубить клеймо позорной мести
На лучший цвет его надежд;

Не сокрушит она святыни,
Враждебной силой не дохнет;
И только вороном пустыни
Вдали добычу стережёт.

Не сожале́й, он гордо вянет,
Дождись, пока его не станет,
И погляди на мертвеца,
Когда презрение проглянет
В чертах холодного лица...

Не сожале́й — он не печален!
Увы! Он только одинок...
Не раз бывал среди развалин
Заброшен бурями цветок!

[1830]

! Полно, человек, который живет один, не может быть счастлив. В одиночестве наши горести становятся еще ужаснее. «Смерть Авеля», акт 2 (фр.).

Ночные духи

Т р и д у х а

(показываясь над скалою)

Время, духи! вылетайте:
Гаснет алая заря,
Бор дремучий покидайте,
Долы, горы и моря.
Мчитесь легкою толпою
За серебряной луною;
Прилегая на ручьи
Тихоструйные, катитесь;
Иль по звездному пути
Дружно ветром пронеситесь.

Тихо, волны в брег не бьют,
Звезды по небу плывут;
Покидайте, покидайте,
Духи ночи, ваш приют!

О т д а л е н н ы й х о р д у х о в

Тихо... волны в брег не бьют...
Звезды по небу плывут...
Время, други! вылетайте,
Бросим дикий наш приют!

Толпы духов показываются над скалою.

Реже сумрак над землею,
Слабо даль озарена;
Вот урочною тропею
В небо катится луна.
Други! резвою толпою,
Шумно, быстро, веселей
Полетим навстречу ей!

Выются вокруг луны; к ним присоединяются еще духи.

Краток час волшебной ночи,
Как золотые смертных сны;
Ненадолго свет луны,
Скоро гаснут неба очи!
Но доколе сей намёт
Над безгранною вселенной,
Ярким золотом испещренной,
Пышный свет на землю льет

И доколь на лоне вод
Утра луч не отразится,
Станем в воздухе резвиться.

Один из духов

Дня стяхнув земную ношу,
Через миры я полечу.
В небе пламень засвечу
И в пустые бездны сброшу;
В виде белой пелены
Обовьюсь вокруг луны,
Блеском звезд свой взор натешу;
Облака огнем разрежу;
И, гремя, вослед ветрам
Прокачусь по облакам.

Улетает; за ним толпа духов.

Второй дух

Я в молчаньи мирной ночи
Пронесуся над землей,
Ослепляя смертных очи
Чародейственной мечтой.
Тихо крыльями повею —
И видения сотку;
Закоснелому злодею
Гибель ада прореку.
Страх стеснит ему дыханье,
Ужас члены окует;
Глухи дикие стенанья,
На челе — печать страданья —
Выступит холодный пот.
Кучей жемчуга и злата
Я скупого наделю;
В золочёные палаты
Сибарита поселю;
Честолюбцу над вселенной
На мгновенье скипетр дам;
В ткань златую облеченный,
Он узрит к своим стопам
В страхе падшие народы
С горькой жертвою свободы;
Что желал — всего достиг:
Мощен, славен — но на миг.

Кто же тяжкие удары
В битве с роком получил;
Кто любви всесильной чары
Испытал и пережил —
Пусть в час ночи безмятежной,
Ослеплен мечтою нежной,
Позабудет горе он!
Ей не исцелить недуга!
Но родные, но подруга —
Несчастливцу сладкий сон!

Улетает; за ним другая толпа духов.

Т р е т и й д у х

Продлись, продлись, час ночи

безмятежной!

Резвитесь, братья! Мне идти другим путем;
Минувшего в покровы облеченный,
Я сяду на утесе вековом —
Считать года дряхлеющей вселенной,
Зреть ветхий мир в его величьи гробовом.
Там царства падшие, забвенные народы
Я манию из праха воззову!
Их сонмы дикие заропщут, будто воды...
Занает грудь земли — и смертного главу
Оледенит непостижимый трепет...
А я — во мрак времен свой углубивши взор —
Торжественно внимать могильный стану лепет...
То глас веков, то с роком разговор!
Лечу... гроба свой алчный зев раскрыли...
Забилась жизнь в груди развалин; гром
Из недр земли рокошет — и кругом
Вертепы дикие завывли!..

Улетает. За ним толпа духов. Ночь. Небо усеяно звездами.
Полная луна сияет над скалою,

[1831]

Песнь духов над водами

Из Гёте

Душа человека
Волнам подобна;
С неба нисходит,
Стремится к небу;

И вечной премене
Обречена:
Снова должна
К земле обратиться.

С крутой скалы
Бежит ручей
И влажной пылью
Сребрит долины.
Но, заключен в пределы,
С журчаньем кротким,
Все тише, тише
Катится вглубь.

Крутые ль утесы
Ему поставляют
К паденью препоны —
Нетерпеливый,
Он пену вздымает
И льется по ним,
Как по ступеням,
В бездну!

В гладкой постеле долину
Он пробегает;
А в зеркальном море
Звездное небо горит.

Ветер, моря
Кроткий любовник,—
Ветер из глубины
Волны вздымает.

О душа человека,
Как волнам ты подобна!
О судьба смертных,
Как ты подобна ветрам!

[1831]

Кремль

Склони чело, России верный сын!
Бессмертный Кремль стоит перед тобою:
Он в бурях возмужал и, рока властелин,
Собрав века над древнею главою,
Возвысился могуч, неколебим,
Как гений славы над Москвою!
О черны! пади! страшися осквернять
Твоею пылью эти стены:
На них горит бессмертия печать,
Они веками освященны!
Здесь гордый ум смирен, окованы мечты,
Но сердце русское исполнено отрады;
Порой устремлены к земле немые взгляды:
Там, в прахе, искрятся великие следы.

[1831]

Бой часов на Спасской башне

Как часто, вечером, часов услыша бой,
О Кремль, с высот твоих священных,
Я трепещу средь помыслов надменных!
Невольным ужасом, мольбой
Исполнена душа, и мнится, надо мной
Витают тени незабвенных!

В сих звуках жизнь, сей гул красноречив!
В нем слышится отцов завет великий,
Их замогильный глас, их неземные клики
И прошлых лет задумчивый отзыв.

[1831]

На могилу сельской девицы

Мирно спи, господь с тобою!
Краток, горек был твой путь;
Ты брела по нем с тоскою,
Ты спешила отдохнуть.

Жизнью ты не веселилась:
Горе — жизнь твоя была!
Не на счастье ты родилась,
Не на радость расцвела!

Полно в мире неутешном
Бедной деве горевать;
Знать, не в нашем свете грешном
Тем цветочкам расцветать.

Счастья здесь они не знают,
Их не радует земля;
Нужны богу; засевают
Ими райские поля.

[1831]
Москва

Грусть

Ночь темна, снег валит,
Ветер по полю шумит;
Приунылая беседа
В даль пустынную глядит.

«Полно, братья, горевать!
Прояснится даль опять,
Снова небо просветлеет;
Снег сбежит с высоких гор,
Вновь цветы утешат взор,
Поле вновь зазеленеет!

В наших тучных лугах,
На обширных степях,
Как и прежде, ружья грянут...»
— «Но почившие в гробах
Не проснутся, не восстанут!
Нам их жизнь не видна!
Их постеля холодна!
Братцы! в память их напомним
Машу старого вина!

На холме гробовом
Песню громкую споем:
Песню ту, что мы певали
В дни, как в их кругу живом
Шумно, весело живали!»

Февраль или март 1831

Москва

Калмыцкий пленник

Отрывок из романтической поэмы

Глава I

Этьен, и бледный и печальный,
Расставшись с Питером, летит.
Бубенчик, будто стон прощальный,
Протяжно в слух ему звенит.
«Прощай, мой Питер, Питер милый! —
Он песнь прощальную поет. —
Ах, долго, странный и унылый,
Я буду помнить бледный свод
Твоих небес и мостовую,
Вдоль по которой я летал,
И прелесть — деву молодую,
Которой думы посвящал.
Куда несусь теперь судьбою?
В пустой, далекой стороне,
В разлуке, милая, с тобою
Какой искать отрады мне?»
Он скачет вдаль; дожди и грозы,
И ветер, и молния, и все
Над ним бушуют; льются слезы...
И вдаль катится колесо.
Взойдет луна и дол осветит
И звезды в небе голубом;
Но кто его с улыбкой встретит
На поле диком и пустом?
Он в первом цвете жизни, молод;
Но, ах! узнал уже любовь,
Любовь несчастную, и колод
В его душе остался вновь.
Он едет, бедный; погляди-ко,
Как он печалию томим,

И сердце пусто, сердце дико,
Как степь, которая пред ним.
Печален он; лихая тройка
Бежит, летит. «Ямщик-пострел!
Товарищ горести! запой-ка...»
Товарищ горести запел:
 «Ах вы, синие глаза!
 Ах ты, русая коса!
 Присушили, иссушили,
 Загубили, уходили
 Вы пострела-молодца!
 Я ль тебя уж не любил?
 Я ль тебя уж не дарил?
Бедным сердцем не крушился,
Не метался, не мутился,
Ночь без сна не проводил?..»

[1832]

Мгновение

Есть для души священные мгновенья:
Тогда она чужда земных забот,
Просветлена лучом преображенья
И жизнью небесною живет.

Борьбы уж нет; стихают сердца муки,
В нем царствуют гармония и мир,
И стройно жизнь перелилася в звуки,
И зиждется из звуков новый мир.

И радужной блестит тот мир одеждой,
Им блеск небес как будто отражен;
Всё дышит в нем любовью и надеждой,
Он верою как солнцем освещен.

И зрим тогда незримый царь творенья:
На всем лежит руки его печать,
Душа светла... В минуту вдохновенья
Хотел бы я на божий суд предстать!

[1832]

К месяцу
Подражание Гёте

Снова блеск твоих лучей
Землю осребрил;
Снова думаю прежних дней
Сердце он открыл.

Ты глядишь печально вдаль
На мои поля, —
Иль тебя, мой друг, печаль
Трогает моя?

Как отрадна для души
Память прежних дней!
Я храню ее в тиши —
Грусть и радость с ней!

Мчися, быстрая вода!
Не расцвести мне вновь, —
Так умчались навсегда
Верность и любовь!

Я сокровищем владел —
С ним погибло всё!
Сердце, рвись! — но твой удел —
Не забыть его!

Мчися, быстрая река,
Мчися вдоль полей!
Душу мне гнетет тоска,
Песне вторь моей,

В осень бурною волной
Бьешь ли о берега
Или раннею весной
Льешься чрез луга!

Счастлив, кто среди степей
С другом сердца жил;
Кто без злобы на людей
Про людей забыл!

То, что чуждо их душам,
 Что их не манит,
В смутный час ночной мечтам
 Смутно говорит.

[1832]

Старая, негодная фантазия

«Серые тучи по небу бегут,
Мрачные думы душу гнетут!»
— «Тучи промчатся, солнце блеснет;
Горе не вечно, радость придет!»

— «Ясное солнце блещет высоко,
Радость былая умчалась далеко».
— «Людам до солнца не доходить,
Радость былую не воротить».

— «Звезда горела средь небес,
Но закатилась — свет исчез».
— «В небе других миллионы сияют,
Блеском отрадным взоры пленяют».

— «Сколько ни будут пленять и светить —
Той, что погибла, не воротить!»

Март 1832

Отшельник

Покину мир — среди могил
Влачить мне долгое изгнанье!
Покину мир — я в нем забыл
Свое высокое призванье!
Не блеск его, не суеты
Во мне глас неба заглушили;
Меня томят мои мечты,
Мои мечты меня убили.

Мне память в казнь! Передо мной
Витают образ вечно милый —
Любовью грешной и тоской
Душа томится, гаснут силы...
Но я разрушу тяжкий плен,
Я жизнь найду во тьме могилы
И вольность среди мрачных стен.

Там вновь душа молиться станет,
Вдали от бурь созреет плод —
И падший дух опять воспрянет,
И небо в грудь мою сойдет.
Я понесу святое иго,
Я тьмы стерплю мучений, зол;
Согнусь под тяжкою веригой...
Но небо даст мне свой глагол.

Тогда покину мрак гробовый,
Тогда явлюсь перед людей —
И грянет глас судьбы суровый,
Как гром над бездною морей.
Глагол небес преидет пучины,
И тьмы во прах пред ним падут,
Главы преклонят властелины,
Рабь свободу обретут.

Октябрь 1832

Москва

Два пути

Я на распутии стоял,
С самим собой в борьбе тяжелой:
То мрачный путь; то путь веселый
На поле жизни мне мелькал.
Манила радость — в отдаленьи,
Знакомый образ видел я:
К нему с тоской, к нему в томленьи
Душа просилась моя.
И уступал я... улетали
Сомненья быстрою чредой:
Туда!.. Но, может, путь печали
Скрывает небо за собой!

В раздумьи стал я: блеск обманет,
Любовь коварна, жизнь летит,
Душа от радости устанет,
И рано сердце загрустит.
Забуду ж свет! К безвестной цели
Пойду через тернистый путь!
К гробам! — чтоб страсти омертвели,
Чтоб охладела к миру грудь!
И, заглушивши сердца злобу,
Благословил я мрачный вход:
Что нужды? Жизнь ведет ко гробу —
Быть может, к жизни гроб ведет.

Но что же мне в замену света?
Брожу один в могильной мгле,
Взываю к небу и земле —
Земля и небо без ответа.

Октябрь 1832
Москва

Раздумье

Скроюсь от света, угасну в тиши!
Некому вверить горе души!
Звездам — в них чувства иль нет,
 иль сокрыто;
Людам — прекрасное в людях: убито.

Край есть далекий; в далеком краю
Бедное сердце — его я люблю;
Ноет, тоскует оно за горами;
Горы не горе — судьба между нами.

Ноябрь 1832

Фантазия

Люблю я смотреть, как ночью порой
Толпятся миры в вышине голубой;
Как тихие воды в брегах отдыхают
И синее небо в раздумьи лобзают,

Но время наступит, но час прозвучит —
И воды иссякнут, и небо сгорит;
Глагол пронесется — он мертвых разбудит;
Проснутся, восстанут — а мира не будет!

Ноябрь 1832

Песни

Фантазия под вальс Бетховена

Когда в колыбели дитя я лежал,
Веселую песню мне дух напевал;
За нею душа улетала далеко,
И песня запала мне в душу глубоко.

Отрадные звуки проснутся порой,
Веселые годы встают предо мной,
И дух напевает — где денется горе? —
Про дальнее небо, про синее море...

Когда я безумной любовью пылал,
Другую мне песню мой дух напевал;
То звуки блаженства, то стоны печали
Далекие — грудь молодую вздымали.

Душа к ним летела — казалось ей,
Что песня звучала из милых очей;
Но очи не блещут, любовь отлетела,
И звуки затихли, и грудь охладела.

Я в жизни утратой утрату сменял,
Унылую песню мне дух напевал;
И в сумраке ночи на песню печали
Знакомые тени ко мне прилетали.

Напрасно теперь в отдаленном краю
Веселые, старые песни пою!
Нет! жизнь обнажилась! Нет! бездна зияет —
Ужасную песню мне дух напевает,

Декабрь 1832

Я. М. Неверову

Его зовут Январь,
Но смотрит он веселым Маем,
За то мы песнь ему поем
И велегласно величаем.

Его пленяете не вы,
Невы красавицы молодые,—
Он верен прелестям Москвы
И вам, студенты удалые.

• • • • •
• • • • •
Кто верен так друзьям, как он,
Хоть называется Неверов.

1832

Слабость

В борьбе напрасной сохнет грудь,
Влачится юность без отрады;
Скажи, судьба, куда мой путь?
Какой и где мне ждать награды?

Беспечный, дикий, полный сил,
Из урны я свой жребий вынул,—
И тяжкий путь благословил,
И весело людей покинул.

Я знал: не радость мой удел —
По ней душа не тосковала,
Высокой жаждой дух горел,
Надежды неба грудь питала...

Давно, давно я на пути:
Но тщетно цели ищут взгляды.—
Судьба! Что мне твои награды?
Былую веру возврати!

Март 1833
Москва

Заветное

В моей душе живут прекрасные виденья
И звуки чудные звучат;
Но никогда творящие мгновенья
Их для людей не воплотят.
Мои друзья — они сжились со мною,
Со мною в тихий гроб сойдут;
Но никогда предателя рукою
Я их толпе не выставлю на суд.
Понять ли ей, как те мечтанья святы?
Как сердце юное живут,
И щедро платят за утраты,
И с небесами жизнь дружат?
Благодарю! Ты мне их дал, спаситель!
Мне с ними чужд других людей кумир;
Они мне жизнь, любовь; но сердце — *их*
обитель,
Им безответною пустыней был бы мир.

2 апреля 1833

Подвиг жизни

Когда любовь и жажда знаний
Еще горят в душе твоей,
Беги от суетных желаний,
От убивающих людей.

Себе всегда пред всеми верен,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измерен —
С непогибающим дружись!

Пускай гоненье света вздымет
Звездой злосчастья над тобой
И мир тебя возненавидит, —
Отринь, попри его стопой!

Он для тебя погибнет дольний;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия.

Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной —
И станешь жизнью повсюдной,
И все наполнится тобой,

Апрель 1833

На могиле Эмили

Привет могиле одинокой!
Печальный мох ее покрыл
С тех пор, как смерти сон глубокой
От нас ее жилищу скрыл.

Окончен рано подвиг трудный,
Загадка жизни решена!
Любовь почилa беспробудно,
И радость тленью предана.

Какие тайные законы
Тебя б в сей жизни ни вели,
Но участь горькую Миньоны
Ты испытала на земли.

Ты с горем свыклась с колыбели,
Тебя не видел отчий кров,
Звездой падучей пролетели
И жизнь, и младость, и любовь.

Но над печальною могилой
Не смолкнул голос клеветы;
Она терзает призрак милый
И жжет надгробные цветы...

Пусть смертный ждет судьбы со страхом,
И чем бы ни был бог земной —
Повсюдной жизнью или прахом, —
Благословение с тобой!

Но если утро воскресенья
Придет на светлых облаках,
Встань с лучом преображенья
В твоих лазоревых очах,

Лети, лети в края отчизны,
Оковы тленья разорви!
Будь с ним одна в единой жизни,
В единой зиждущей любви,

1833

Две жизни

Я. М. Н[еверов]у

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?

Schiller ¹

Печально йдут дни мои,
Душа свой подвиг совершила?
Она любила — и в любви
Небесный пламень истощила,

Я два созданья в мире знал,
Мне в двух созданьях мир явился:
Одно я пламенно лобзал,
Другому пламенно молился,

Две девы чтит душа моя,
По ним тоскует грудь младая:
Одна роскошна, как земля,
Как небеса, святая другая,

И мне ль любить, как я любил?
Я ль память счастья разрушу?
Мой друг! две жизни я отжил
И затворил для мира душу.

[1834]

Тихая Сосна

* * *

Вздывают ли бури глубокую душу,
Цветет ли улыбка на светлом лице —
Я вижу в тебе необъятность природы,
Я вижу незыблемый мир божества!

¹ Что стоит жизнь без сияния любви? Шиллер
(нем.).

Ты образ вселенной, стремящейся бурно
Исчезнуть в начале и свете своем,
Ты образ отрадный спокойного духа,
Нашедшего мир свой и бога в себе.

Тяжелые, страшные бури нисходят
Порою в глубокую душу твою,
Взрываются страсти, сомненья, и дико
Работу свою начинает хаос.

[?]

Эпиграммы и шуточные стихотворения

Эпиграмма

«Кутейник всех обрек с Парнаса на изгнание;
Один лишь он иметь там хочет пребыванье».

— «Ты шутишь? Можно ли мне согласиться
в том?»

— «Клянуся — истина: он даже муз поносит».

— «Да как священный Феб всё это переносит?»

— «Где смех, там гнева нет: он у него — шутом».

[1829]

Воронеж

Эпиграмма

«Я знаю свет! —

Так говорил Тарас, любезный мой сосед, —

А в свете жить — великое уменье!

Я людям, *нужным* мне, поклоны отдавал,

Дам модных красоту я громко хвалил,

Всегда мне нравилось их мнение;

Что им не нравилось, я то всегда бранил,

В глаза был другом всех, и всяк меня любил.

Мне подражай, когда счастливым быть

желаешь!..»

— «А правда? Долг?» — «Ты света, брат,

не знаешь».

[1829]

Воронеж

Эпиграмма

Есть русская пословица одна:
Что всякий и в *грязи* на *золото* укажет;
Но, видя Кличкина, невольно всякий скажет:
Что *грязь* и в *золоте* видна.

[1829]

Воронеж

[На Каченовского]

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы.
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

[1834]

[На Снегирева]

Он ¹ — историческая мерка;
Тебе ж что скажем, дураку?
Ему — в три фунта табакерка;
Тебе — три фунта табаку...

[1834]

**Януарию Михайловичу
и Тимофею Николаевичу,
отправляющимся наслаждаться жизнью**

Поспешайте, юноши,
Наслаждаться жизнью!
Предоставьте дряхлости
Логике печальную!
Пусть она пытается
Измерять количество,
Наслаждайтесь качеством

¹ Каченовский.

Юных уст и щек.
Пусть она над мерою
Изломает голову.
Вы же переполните
Меру шумной радости.
Но к чему вся арматура —
И меня в среду...
Увлекла карикатура,
Эпиграмма на людей,
Незаконная фигура —
Безобразный Тимофей,
С ним и Строевым Сергеем
(В гнусном обществе таком)
Любоваться Колоссеом
Наказанье поделом!
Сам наверно знал, что в этом
Ни на крошку нет пути,
Занимался б количеством,
Труден, бог его прости.

1837 или 1838

Опять в Берлине

Опять больным, опять невеждой
Я возвращаюся в Берлин;
Опять в душе моей с надеждой
Ведет войну мой старый сплин!
Я стану жить умно, учено,
Я сяду в прежнюю ладью;
Опять увижу Ашерсона,
Опять увижу попадю.
И Озерова-камергера,
И старца, прусского царя,
Барона Фриша, Рибопьера,
Вар..... пономаря.
Найду друзей, быть может, новых,
У старых душу отведу,
Напьюся чаю у Фроловых
И ровно в десять спать пойду.
Поутру больно что-то шее,
Желудок плох.....

Давай стакан воды скорее,
По предписанию врача.
Потом пошли опять науки.
Гулянья, завтрак и обед,
Тоска и грусть, частичка скуки,
Потом беру в театр билет.
Там Герн: он выше всех условий!
Смешит и мертвых и живых!
Я прихожу домой здоровый,
И ночью снится Клара Штих.

[1838]

* * *

Профессор будущий! преследуем судьбою,
Скажи, что предпринять намерен ты с собою?
Принял ли рвотное? Что чувствовал потом?
Что с грудью деется? Как можешь животом?
Чем занимаешься? Идет ли в ум ученье?
И долго ли еще пробудешь в заточенье?
Доволен ли судьбой? Глаголешь ли хулу?
Или блаженствуешь, простершись на полу?

Но что б тебе судьба терпеть ни повелела,
Не вправе проклинать ты своего удела:
О, как не позабыть и воли и трудов
Под тенью сладкою Армидиных садов,
Где райские плоды горят на каждой ветке.
О птица странная, в какой ты чудной клетке!
За этим, подивясь такой твоей судьбе,
Я кое-что сказать намерен о себе.
Сегодня лучше мне: уж нету боли в шее,
Живот не тяготит и голова свежее.
Штанов не надевал, в подштанниках хожу
(Одежду эту я удобней нахожу);
Пью чай по-прежнему и все держу диету,
Потею, кашляю немного — денег нету!

А Берта? — Да, была сегодня и вчера,
Но что ж? От этого немного мне добра,
Нельзя — ты сам смекнешь, не предаваясь
думе, —
Быть добродетельным в означенном костюме;

Пусть опыт мой тебе послужит как урок,
За это ты пришлешь мне талеров пяток.

Прощай! В политике я вижу пустословье —
Пиши о чувствах мне и о твоём здоровье.

[1838]

*Послание к Я. М. Неверову
по случаю печальных звуков,
которые он извлекал
из мусикийского струмента*

Полно, Неверов, прискорбные звуки
Бледной рукою из струн извлекать,—
В них воплотились душевные муки,
Что за охота мне грудь раздирать?
О! посмотри, как кругом всё печально —
Бледное небо и тающий снег,
Нашим друзьям угрожает квартальный,
Горе сулит штифельпуцера смех.
Гаген в насмёрке, Фазона не стало,
Наполитан головою поник,
Смутно грядущего чрез покрывало
Греческий вам угрожает язык.
Сам ты, о яростный, сам ты, могучий,
Перед сарматкой копье опустил,
Мигом погаснул пламень твой жгучий,
В битву желанную ты не вступил.

Что предаваться сим жалостным песням,—
К Арендту в Гамбург — там мы воскреснем!

1838

* * *

Дай руку мне, любезный Тимофей!
Ты слышишь ли, как это сердце бьется?
Но, друг, в ушах моих еще сильнее

Рассудка голос отдается
И все кричит: «Скорей в Берлин!
Иль ты останешься, скотина!»
Туда зовет меня мой сплин,
Рассудок, сердце, медицина,
И овладели мной они!
В Берлин! В Берлин! Мне нету мочи!
О друг! В Берлине — шумны дни!
О друг! В Берлине — сладки ночи!
Там Берта, доктор Ашерсон,
И доктор Вольф, и женский слон...
Там Гропиуса диорама,
Ее хочу увидеть — страх!
Тиргартен там, на лошадях
В нем скачут кавалер и дама!

14 июня 1839

*Несколько мгновений
из жизни графа Т****

I

Граф Т*** был рожден с душой пылкою, способною ко всем сильным ощущениям: свободное воспитание развило ее способности. До пятнадцати лет прожил он в деревне, где должен был, по некоторым причинам, оставаться отец его. Это обстоятельство спасло в нем многое: мелкие, ничтожные побуждения светского юноши были ему незнакомы; он не умел отделять слов от мыслей, в детстве не разыгрывал мужа, в юности — старца; не стыдился чувствовать, верить; не посягал на религию из приличия и не молился из слабости. Природа была его наставницею; он свыкся с нею, сочувствовал ей, считал ее разумной и любящей. Надобно сказать, что уроки доброго, умного отца способствовали ему видеть природу и жизнь с настоящей точки зрения. Отцу обязан был он святыми началами, которые без сознания навек залегли в его сердце, составили часть бытия его, образовали из него то, чем он был.

Приехав в столицу, Т*** в первый раз испытал неприятную борьбу с жизнью. Отец его имел связи, знакомства, которые должен был поддерживать; молодой Т*** явился в обществе, скрепя сердце выдержал первую атаку дядей и теток и поступил на другие мытарства: подвергся испытательным взорам кузин всех возрастов, выслушал несколько несомненных истин и ходячих острот от молодых братьев. Двусмысленной улыбкой (он должен был с ней познакомиться) подавляя в себе удивление и досаду, он думал, что по воле своей может удалиться из этого чуждого ему мира и только изредка в него заглядывать. Но этого нельзя было сделать иначе, как оставив Москву. Оставить ее значило отказаться от всех радужных надежд. Эти надежды были не кресты, не чины, не блистательное положение в обществе: нет! душа его

жаждала познаний; здесь думал он удовлетворить святому стремлению к истине, найти руководителей и спутников, заключить с ними союз братства и рука в руку переплыть житейское море, победить его бури, укротить безумные волны. Да! сильно воздымали грудь его эти думы; душа его была открыта миру и людям. Но мир и люди обманули эту душу: скорбя, она не утратила ни надежд, ни сил; только к прежним чувствам ее прибавилось новое: презрение. Он скоро привык к новому миру и новому чувству: с улыбкою вмешался в толпу, не говорил о том, что выше ее; приобрел блаженную терпимость, и даже пустился в танцы, желая узнать короче создания, которым, по его понятиям, природа определила представлять на земле красоту и любовь. Граф был высок, статен, умен, бледен, черноглаз, черноволос, богат и притом же граф: он скоро успел узнать их и, как будто стыдясь побед, сошел с паркетного поприща. Героини его немножко бессовестно расточали перед ним свою любезность: теперь они начинали говорить злости, тем более, что граф сам был немножко зол. Змея обвивалась вокруг души его: удивительно ли, что речи его были ядовиты? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Все это совершалось в течение нескольких лет. Граф успел окончить университетский курс, успел сблизиться со многими людьми, достойными приязни, и с одним более, нежели с другими. Это было необходимо. Никакое чувство не терпит раздробления: оно ищет сосредоточиться на одном предмете и сосредоточивается на нем, когда он может заменить все другие. Т*** не знал ни в чем середины: приязнь его скоро обратилась в горячую дружбу, восполнившую для него недостаток любви; друг вполне принадлежал ему, но судьба разомчала их по разным путям. Мануил (имя друга) засел уже в департаменте, между тем как Т*** должен был оставаться в Москве. Это имело большое влияние на графа: смело и неуклонно шел он на пути к истине, не щадил себя, твердо выслушивал ее приговоры, грозившие гибелью лучшим его мечтаниям, не останавливался и шел вперед. Участь саисского юноши, преждевременно осмелившегося поднять таинственный покров Изиды, начинала уже представляться его воображению; система за системою создавалась и разрушалась в уме его;

он уже начинал сомневаться, не слишком ли много надеется на мощь своего ума; все утешительное каждой системы гибло без возврата, а леденящие сомнения все умножались!

Пламенная, любящая душа друга доселе спасала графа; без него ум, не останавливаемый в своем стремлении, страшно начал работать. Что сохраняет человека от пагубных сомнений во всем, составляющем счастье жизни? Как согласить непреодолимое влечение ума к истине с потребностью любить и верить? Как отвлечь от чувства удары ума, как спасти ум от обольщений чувства? Эти вопросы, к несчастью, слишком поздно стали тревожить графа: как все пылкие молодые люди, сначала занимался он одной метафизикой, потом с жаром стал изучать историю, религию, искусства... но пустота оставалась в душе его, червь точил сердце.

Как прежде, он любил природу, но смотрел на нее с какою-то грустью; радужные покровы детства спали с нее... немая красота находила отзвук в душе его, но, одна, уже не могла его удовлетворять. Сочувствия, полного сочувствия — вот чего он жаждал... Если бы случай сблизил его с созданием, достойным той высокой, бескорыстной любви, которую он расточал на безответную природу, на холодный мрамор и мимолетные звуки; если бы он нашел красоту, отражение, сосредоточение природы, с человеческим сердцем в груди, с молитвой на устах!.. Какая бесконечная жизнь любви ожидала это создание! Какая отрада ожидала истомленную душу страдальца! Гордый разум беспрекословно почтил бы бога в творении, вера младенца и любовь юноши дали бы крылья мужественному уму — и куда б не проник он!.. Но судьба не хотела этого: чистый и высокий сердцем, он не унижал чувства перед суетными созданиями: он видел в них искажение природы, падшее человечество, померкший образ божий. Презрение и жалость — вот что наполняло грудь его при виде этих тварей, безрассудно разорвавших высокую связь с жизнью вселенной, поправших свое назначение, уничтоживших красоту свою... Те, которые возвышались над падшими, те, которые не отвергли благословения небес, но едва постигали цену его, влачили жизнь в золотой посредственности, не могли увлечь сильной души юного

мученика... Судьба не хотела сблизить его с лучшими!..

Без любви слабеет вера, чувство долга становится тяжким бременем, жизнь — мучительною борьбою. Долго боролся граф: он решился испытать одно средство для успокоения души своей. Он решился честной и трудной деятельности посвятить жизнь свою, как прежде думал посвятить ее наукам. Занять значительное место в обществе, быть на нем олицетворенною справедливостью, водворять вокруг себя благо — вот к чему он теперь стремился! Желая приготовить себя к этому подвигу, он отправился за границу, был в Германии, Англии, Франции, Италии, изучал людей, общества; наконец возвратился в Россию... Его рождение, богатство, ум скоро доставили ему желаемое место; с жаром начал он действовать на новом поприще, великодушно презрел неблагодарность, зависть, тысячи неприятностей, сопровождавшие каждое его доброе дело: связи и прочная репутация между известными людьми не позволяли сделать его подозрительным... Но болезнь души не проходила и произвела наконец опасное расстройство в организме. Граф не в силах был исполнять всех обязанностей своей службы: он оставил ее, и доктора присоветовали ему снова ехать за границу.

В мае 18** Т*** поехал в Петербург. Он хотел отправиться отсюда на пароходе, а до отъезда видаться с другом. Он прибыл за несколько часов до отплытия парохода и побежал к Мануилу... Деловой друг его сидел над кипю бумаг, собираясь идти в департамент... Вдруг граф входит в его комнату. Первым движением Мануила был испуг: полный блаженной веры в мечты детства и юности, он боялся, не призрак ли друга явился поведать ему отшествие любимой души в лучшую страну?.. Но граф бросился к Мануилу... осыпал его плоть и кости... Скоро вложил он и персты в раны его...

Глубоки, страшны были эти раны! Несколько мгновений поглотило одно долгое, безмолвное объятие...

— Друг мой, друг мой! Наконец я тебя вижу!.. — проговорил Мануил. — Дай взглянуть на себя!..

— Смотри и радуйся! — отвечал граф с грустной улыбкой.

Несколько лет разлуки ужасно переменили графа. Гордая, вдохновенная улыбка покинула лицо его, черные волосы опустились, щеки впали, большие глаза высказывали сосредоточенное страдание души...

— Ты страшен! — воскликнул Мануил.

— Поправлюсь, поправлюсь, друг мой! — поспешно сказал граф. — Воздух Италии, теплые воды, путешествие: все это придаст мне новые силы и, возвратившись, я уж не испугаю тебя моим приходом.

Мануил взглянул еще раз на графа, и невольная дрожь пробежала по всему его телу...

— Итак, ты решился ехать?

— Место на пароходе уже взято... он отходит через несколько часов. Благослови меня, друг мой! — прибавил он дрожащим голосом...

Они сели. Мануил вперил испытующий взгляд на графа: он поникнул головой... Две болезни дружно разрушали его состав; одна была корнем другой: ее следовало истребить... Мануил это знал.

— Да! Тебе нужно благословение, — сказал он. — Я могу дать тебе его... и оно не будет напрасно!

Он произнес эти слова тоном убеждения, потрясшим бранный организм графа.

— Время нам дорого — не будем его тратить! Буря опустошила душу твою, но благотворный дождь не освежил ее; вихри развеяли драгоценное семя и не было плода... Бедный друг! ты отважно напряг все силы ума, ты безумно раздувал кроткое и спасительное пламя души твоей: оно объяло ее пожаром. Воды! вопил ты, но не приготовил ее. Дождя! зывал к небу, — и уже не верил, что оно пошлет дождь.

— Да, мой ангел! — отвечал граф. — Бури и грозы опустошили ниву, развеяли семя, ей вверенное; изредка упадет небесная роса, но ей не возрастить погибшего семени!.. Мгновенная, чуждая зелень покроет ниву, но придет зима и умертвит зелень... Друг мой, благослови меня!.. Я верю в твое благословение. Да будет оно поздним посевом, которого плод дается при свете весеннего солнца, в другой земле!

Глаза Мануила были полны слез; собрав силы, он взял руку графа и сказал:

— Сый посреди нас да будет с тобою!

Они преклонили колена пред распятием и сжали друг друга в объятиях.

II

Прекрасный осенний вечер догорал над одним из веселых загородных садов Вены. Безоблачный запад еще золотился последним отблеском зашедшего солнца. Музыка и песни раздавались по саду; кое-где под ветвистыми березами дымились самовары; там общество затевало игры; там пускались в танцы... Так оканчивают каждый день в Вене.

В главной аллее на скамье сидел молодой человек высокого роста, закутанный в плащ, худой и бледный. Болезненный вид и вместе прекрасная физиономия останавливали на нем внимание проходящих. Он не был похож на разочарованного героя новых романов, не отворачивался от проходящих; напротив, смотрел на них очень пристально. Его, казалось, занимала пестрота, трогала музыка, радовала общая веселость. Он приподнимался, обозревал группы, вглядывался в лица, и с улыбкою снова прислонялся к толстому дереву, под которым стояла скамья.

Между тем вечер темнел и холоднел, толпы редели, а яркие осенние звезды все чаще и чаще усыпали небо. Если бы кто-нибудь стал особенно наблюдать лицо молодого человека, сидевшего под деревом, то заметил бы, как с лучами зари исчезала улыбка с лица его, как он мрачнел с вечером, как глаза его загорались с звездами; заметил бы, как он раскрывал бледные уста, чтоб пить холодный полуночный ветер, как с грустью глаза его перебегали от созвездия к созвездию и вдруг с чудным блеском остановились на *Медведице*. Легкий румянец вспыхнул и погас на щеках его... будто дума его встревожила, безнадежность оледенила...

— Любезный граф! — сказал подошедший к нему молодой человек.

Граф вздрогнул.

— Доктор ваш очень неблагоприятно делает, что позволяет вам гулять одним. Вы слишком любите природу и поэзию... слишком, для больного. Позвольте увести вас отсюда.

— Благодарю вас, барон. Но вы доктор больше, нежели я мог ожидать от известного музыканта.

— Комплимент за искреннее участие! Кстати, граф! вы, верно, будете завтра в первом концерте филармонического общества?

— Что дают?

— Пастушескую симфонию. Я имею билет — и если ваше здоровье...

— Оно хорошо. Благодарю вас. Я буду в концерте непременно.

Они приближались к воротам сада.

— Прежде, нежели расстанемся, еще один вопрос, любезный граф... Вы зимуете в Вене?

— В Вене, барон.

— А на весну?

— Не знаю! — отвечал граф с печальной усмешкой. — Я скучаю по России, — примолвил он, помолчав несколько.

Барон улыбнулся.

— Швейцарская болезнь! — сказал он и пожал ему руку.

Они расстались.

Путешествие сделало графу более вреда, нежели пользы.

Он провел лето в Италии, прожил несколько месяцев в Риме, побродил между памятников, давно ему знакомых, пожил несколько душою... Но мраморная красота Рима не исцелила больной души его, еще более измученной тоской по друге и родине; силы его значительно упали. Он желал возвратиться в Россию и решился, переждав зиму в Вене, отправиться весною в отечество. В прежнее путешествие, поглощенный одной мыслию, обремененный важными занятиями, он не мог познакомиться со всем, что эта столица может представить любителю *человеческих* наслаждений. Теперь он имел время предаться им вполне. Я уже сказал, что граф не походил на разочарованного героя новых романов: он не любил ба-лов, но это потому, что бывшие на бале мало занимали его; удалялся, сколько мог, общества, но это потому, что страшился убивать в нем краткое время, данное на обширный подвиг, и одинокий поспешал совершить его. Тяжкие, мучительные сомнения обле-

ли его душу; долго и неослабно стремясь к цели, он видел бездну между ней и собою. Он думал постигнуть природу, ощутить ее жизнь, уразуметь, разделить ее промысл. Он отделился от земли, отказался от благ ее для святого подвига, но скоро увидел, что совершить его не в силах: земля стала для него пустынею, а небо было недосягаемо.

Но тем дороже, тем священнее были для него представители неба на земле — искусства. Они одни заставляли его забыть пустоту жизни и напоминали его юные надежды... Но когда умолкал звук, когда отлетал образ, змея обвивалась вокруг души его и сокрушала последние силы его. Музыка была одним из любимых его занятий. Он решился сосредоточить на ней все свое внимание. Вена представляла ему все средства к этому. Он познакомился с бароном Мг*, веселым, добрым молодым человеком, страстным любителем музыки, ревностным поборником немецкой школы и заклятым врагом Россини с братиею. Они успели провести с ним два-три вечера, разыгрывая партитуры Моцартовых опер. Это занятие начинало, по-видимому, развлекать графа, он стал спокойнее, даже веселее.

На другой день после описанного свиданья, утром, барон Мг* пришел к графу и принес ему Пастушескую симфонию. Они сели за фортепьяно. Граф уносился божественными звуками; душа его как будто пробудилась от долгого усыпления: все чаще, все полнее становилась она, тихий румянец покрыл его бледные щеки, кроткое упоение сияло в глазах, как будто потерянные годы возвратились с своими туманными надеждами, как будто горе жизни не возмущало младенческой гармонии в душе его; послушно летали пальцы его по клавишам фортепьяно; каждому звуку влагал он и мысль и жизнь, и каждый звук западал ему в сердце... Когда они окончили первую часть, граф молча сложил руки и поникнул головою.

— *Da ist der einzige wahre Schein!*¹ — воскликнул восторженный немец, ударив рукою по тетради.

Граф, не говоря ни слова, повторил последние успокоительные звуки, повторил их еще раз, стал при-

¹ Вот он, истинный свет! (нем.)

бавлять к ним другие, еще, еще... как будто ему не хотелось расстаться с целебною песнью... он желал бы продлить ее в бесконечность. Тихо звуки лились за звуками; казалось, давно желанное спокойствие водворилось в груди страдальца; беспокойный червь отпал от сердца, заговоренный магическою песнью; болезнь души уснула под ропот звуков, как фурия за пламенеющим жертвенником Аполлона. Но вдруг каким-то судорожным движением нарушился спокойный, ровный ход мелодии, дрожащая рука стала оттягивать и сокращать тоны; вот послышался диссонанс, чадо муки душевной, вот другой... Несчастный! какая мысль сокрушила твое блаженство? Диссонансы становятся чаще и чаще, они толпятся; он разрешает их, отрывисто, будто нехотя, в жалобные аккорды: душа его странно высказывает себя. Все более и более расстраивается игра, пальцы перебегают с одного конца инструмента на другой, мир гармонии готов разрушиться... Вот возник целый хаос диссонансов; граф крепко ударил по клавишам; нестройный вопль пробежал по фортепьяно, струны лопнули.

— Sind Sie rasend?¹ — вскричал барон, забыв приличие. Он подбежал к графу и остановился в изумлении.

Т*** сидел неподвижно, закрыв лицо рукою. Барон слушал со всем участием меломана отчаянную импровизацию графа; его удивляла возрастающая дисгармония; он ждал, что вопящая буря звуков разрешится в стройные аккорды... но за ними последовал разрушительный удар грома, и нервы его потряслись... Теперь он видел, что граф играл не случайную фантазию, что диссонансы живут в душе его, что состав его готов рушиться от борьбы их... Он это видел и принял употребить все силы к примирению его с самим собой.

Вечером барон заехал за графом, чтобы вместе отправиться в концерт, и нашел его спокойнее, чем когда-либо. Быстрая, гармоническая исповедь облегчила его душу. Они вошли в залу, которая была полна. Вельможи, чиновники, музыканты, ремесленники с фамилиями собрались слушать чудное произведение родного гения; огромный оркестр стоял на возвыше-

¹ Вы с ума сошли? (нем.)

нии и уже приготовился к игре. Граф выбрал уединенное местечко у колонны и в ожидании начала смотрел на пеструю толпу, волновавшуюся в обширной зале... Но вот дирижер поднял смычок, и все собрание обратилось в слух. Мирные звуки тихо поднялись с инструментов и замерли над очарованною толпой; вслед за ними потянулись другие, третьи, и весь оркестр ожил. Граф был проникнут до глубины души божественной мелодией: он улетел мечтою в годы детства. Вот безмятежное утро восходит над благословенным кровом отца его, первый луч солнца румянит волнистые нивы, скрипя тянутся крестьянские телеги по дороге и добрые поселяне с улыбкой приветствуют доброго владельца; вот он выходит на поле: протяжная песня слышна вдалеке; звонкая коса стучит о камень, косари и жнецы прилежно работают; вдали, подернутый дрожащим туманом, волнуется темный лес и все оживлено улыбкой раннего, утреннего солнца... на душе становится веселей и веселей... полно, свободно дышит грудь... пламя любви разгорается и хочет обнять всю природу... Первая часть симфонии кончилась.

Граф пробудился. Он глубоко вздохнул и обратил грустный взор к собранию: все были в восхищении; хлопанье, восклицания слышались со всех сторон (барон вошел в ученое состязание с каким-то знатоком). Графу не хотелось расстаться с отрадными мечтами: слух его был полон очаровательных мелодий; по счастью, соседи не мешали ему предаться капризам своей фантазии.

Ближе всех к нему сидела молодая девица, которая, может быть, не зная музыки, не пускалась ни в похвалы, ни в рассуждения. На ней остановились глаза графа, отдавшегося на волю своему воображению. Она сидела, поникнув головой к груди, и как будто смотрела вдаль; сны его не прерывались, звуки для него не умолкали, но ему казалось, что те же сны очаровали ее душу, что слух ее ловит те же самые звуки.

Вот снова слышится песнь — и тиха, и светла, но она томит душу, она раскрывает сердечные раны страдальца; с каждым мгновением песнь становится роскошнее, душа ищет какого-нибудь предмета, чтоб остановиться, чтоб излить на него все обилие тоску-

щей любви; светлая Scene am Bache¹ становится задумчивее... Вот зазвучала та мелодия, которой никакая душа не может противиться; вся сила, все томительное блаженство любви сказалось в ней; глубокий, судорожный вздох вырвался из каждой груди. Вдохновенные взоры графа бессознательно покоились на девушке, сидевшей против него: легкий румянец покрывал ее щеки, в больших глазах светилась глубокая дума... Кончилась и вторая часть.

Девушка сидела неподвижно и по-прежнему смотрела вдаль: в душе графа опять повторялись небесные звуки, взор его не отходил от незнакомки... Вот кто-то подошел к ней: она заговорила, как будто нехотя... Вот она встала и обернулась в ту сторону, где сидел граф; глаза их встретились... Он вздрогнул... ему казалось, неясный сон сбывается, но скоро он опомнился и сознал, что перед ним стояла девушка, на которую смотрел он, когда играла музыка...

Теперь эта девушка обратила на себя его внимание. Прекрасное, полное мысли лицо ее, задумчивые глаза, душевное волнение, которое обнаруживалось в каждом ее движении,— все возбуждало какое-то тревожное участие в душе графа, где не умолкла еще могучая песнь любви. Высокая, стройная, окруженная волшебной атмосферой звуков, она казалась графу роскошным гением Бетховена, внушившим ему божественные песни... Эта мечта была естественна, приятна, и граф не удалял ее.

Но вот раздалось тихое tremendo; ему отвечала беспокойная, жалобная мелодия; вот опять tremendo, вот опять беспокойные, умоляющие звуки... Мысли графа носились вокруг прекрасного существа, приковавшего его внимание; ему мечталось: он один с нею бродит по полям своим; необозримая даль перед ними, а тучи склоняются на небе, и отдаленный гром стесняет грудь ее страхом; она с мольбой устремляет на графа большие глаза свои, грудь его едва может вместить блаженство любви, он берет ее на руки, он мчит ее.., мрачная туча покрыла небо — удар рассыпается за ударом... Нет! Небо не исторгнет у него

¹ сцена у ручья (нем.).

блаженства, которого он ждал так долго, не повергнет его в прежнюю страшную жизнь отчуждения и бесстрастия — а удары ближе, сильнее; он крепко схватил ее руками, он с нею не разлучится... и, боже мой, как ужасна была бы такая разлука! опять сойти в ничтожный мир, опять бороться, разрушаться! Граф затрепетал... да в каком же мире теперь он?.. Прочь, страшные размышления! Сладок сон!.. Вот утихает гроза, благотворный дождь оросил землю, в ее глазах светится безоблачное небо!.. Она взглянула на графа, и он видел, как страшная буря стихла в груди ее.... Он утешал себя мыслию, что и она читала в душе его.

Но природа отдыхает от бури; гимн благодарности несется к Отцу... пламенное благоговение исполнило душу графа; он встал... Это движение не укрылось от незнакомки; она вперила в него свои задумчивые глаза: в эту минуту граф был прекрасен, как небожитель; змея безнадежности отпала от груди его, он ожил всей полнотой своей роскошной жизни. Таким был он, когда шел на трудный подвиг: тот же луч небесный сиял в глазах его, тем же вдохновением светлел лик его; божество водворилось в нем с миром и любовью, и в каком-то сладком изумлении смотрела незнакомка на преображенного юношу.

Снова осенний вечер догорал над Веною. Природа уже утратила свою роскошную летнюю одежду. В загородном саду, под ветвистым деревом, небольшое семейство расположилось пить чай. Пожилая женщина сидела на дерновой скамье с молодой девушкой; с ними были двое мужчин. Один из них, высокий, бледный, в упоении смотрел на девушку, утопившую задумчивые глаза свои в багрянце зари... невольный вздох всколебал грудь ее...

— Вы прощаетесь с старою природой? — сказал другой мужчина.

— К сожалению! — отвечала девушка. — Она подарила меня такими впечатлениями, каких, может быть, не даст новая! И кто знает, как мы встретим эту новую природу?

— Граф будет ее приветствовать в России? — спросила мать.

— Так я думал! — отвечал он.

— Граф очень любит Россию! — сказала девушка, устремив на него свои большие глаза.

— Там мое отечество и там мой подвиг! — сказал граф, — но — не там награда!..

Прошло несколько месяцев...

— Ты веришь, не правда ли, ты веришь, друг мой, — говорила она, — что новая жизнь зарождается в этом пламени, жизнь вечная, всемогущая, которая ощутит себя в каждом атоме природы, которая прославит бога в каждом создании?

— Верю ли я, ангел моей души? — говорил он. — Верю ли я? *Знаю* с тех пор, как знаю тебя; мы будем в Нем, как Он во всем; мы ступили первый шаг к блаженству; уже я живу твоею жизнью и молюсь твоею молитвой.

И жаркие поцелуи горели на плече девы: она стояла, склонив голову на плечо к нему. Глаза их сияли блаженством, но болезненный трепет бежал по суставам графа и яркий румянец горячки страшно пылал на щеках его.

«Теперь время, время поспешить к нему!» — говорил Мануил, пока слуга его суетился вокруг чемаданов. «Неожиданное блаженство разрушило его слабый состав, быстро приблизило его к смерти!» Он то бледнел, то вспыхивал, и крупные слезы по временам градом катились из глаз. «Бедный друг мой! Высокая душа! И вот чем кончились ее замыслы!» Он подошел к столу и стал перечитывать письмо графа.

«Да! Я чувствую в себе присутствие божества. Ни одного сомнения! все ясно! В последние минуты образ ее будет мне ответом на все вопросы души. Он призовет молитву на хладеющие уста, он будет посредником между тварью и Создателем! Когда ярмо сует отяготело на мне, когда хладные сомнения раздирали душу, гений жизни моей вопиял: спасай, спасай чувство! И оно спаслося в ней! Пусть же рушится мой организм, во мне есть другое существо — лю-

бовь; оно вечно, оно однородно с творящею природой — и ощутит себя в лоне ее!»...

«Благословение твое было не вотще! Поздно благодать оросила засохшую ниву души моей! Зимний хлад уже готов убить недавний цвет ее, но плод дастся в другой земле... при свете весеннего солнца!..»

III

Дымятся кадила пред престолом Неисповедимого; стройный хор воспеваает бога правды, бога любви; заветное слово Сына Человеческого отрадно звучит под мрачными сводами храма, проникает надеждою скорбящую грудь; отдернута таинственная завеса алтаря; сквозь дым курений с престола распятый простирает объятия к людям. Да изыдет, чья душа не ответствует ему! Да не зрит его, кто не скорбел о нем!

Но толпа молящихся разделилась на двое. Один среди них; сей один, быть может, скорбел о нем, но не зрит его, не ответствует ему, но не изыдет. Несть бог мертвых, но бог живых; труп не восстанет и не воздаст хвалы ему! Чья душа не будет прискорбна до смерти? Природа торжествует свое возрождение, луга зацвели, сады заблагоухали, электрический огонь любви пробежал все звенья созданий... А он здесь, безгласный и бездыханный, окружаемый чуждыми любопытными — готовый лечь в чуждой земле, под лучами южного солнца!..

Бледен лик его; венец тления осенил черные волосы, окостенелые руки держат черный крест... Мало-помалу свечи озаряют церковь... Вот другой мертвец с открытыми глазами; они устремлены на гроб; сложив крестом руки, стоит он у изголовья усопшего. Он не слышит песней, не видит людей — и погребальная свеча испалила его длинные волосы...

А вот и небесное создание, обновившее жизнь юноши... Кто б узнал в ней вдохновенную деву того вечера, когда светлые песни Бетховена очаровывали юношу, теперь безгласного и бездыханного! Бледная, безмолвная, она сидела у стены, склонив голову на плечо матери и закрыв глаза... Изредка взглядывала

она на то место, где покоилось ее блаженство... и судорожная дрожь пробегала по ней...

Вот лик поет: *«Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю к тихому пристанищу притек, вопию ти: от глн, боже, возведи мя!»*

Но эта песнь чужда ее, как и большей части предстоящих, а живой мертвец, как пробужденный от сна — пал на колена и, возводя очи к распятому, говорит: «Отче! ужасна безответная пустыня мира! Страшно шумит океан житейский, воздвигая безумные волны на одинокого пловца... И ты сам был в мире — и на тебя воздвигалось житейское море! Отче! И ты скорбел о друзьях!»

Жаркие слезы лились на холодный помост церкви...

«В дому отца твоего обители многи суть, прими его в свою тихую обитель!» — И душе его стало легче, как будто небо отвечало ему...

Вот гремит: *«Прийдите ко мне ближние мои и целуйте мя последним целованием!»* Как недавно еще горел первый поцелуй любви на ланитах пылкого юноши, а теперь царица дум его идет лобзать бранные остатки своего блаженства! Вот она распростерлась перед престолом живоносного бога... вот ее подняли полумертвую, и бледные уста ее прильнули к бледной руке.

Тих и душен был весенний вечер; синие тучи облегали небо; изредка пробегала по ним яркая молния....

— Друг мой, успокойся! отдохни! — говорила мать рыдающей дочери...

Она повиновалась и, опираясь на плечо матери, пошла в свою комнату. Проходя мимо Мануила, она снова залилась слезами и чуть внятно простонала: *«O wärst du da!»*¹

Мануил сидел, поникнув головою; душа его была убита; в тихом шепоте листьев, у растворенного окна ему слышалось: «Плачу и рыдаю».

Барон молча ходил по комнате; дрожало несколько

¹ «О, если б ты был здесь!» (нем.)

мгновений, он взял руку Мануила и, отирая крупные слезы на щеках своих, сказал: «Welten schliefen im herrlichen Jungen»¹,

[1833]

Три художника

Три художника, три брата работали вместе. Безмолвно каждый в своем углу покушался дать плоть прекрасному мгновению своей жизни. Но у всех творило одно могучее чувство, одна мысль облекалась в красоту, один дух парил над тремя избранными. Лучи заходящего солнца проникали в комнату... Вдруг струна задрожала под перстами одного из художников: чудные, томящие звуки возникли... и, умирая, просили ответа; отрадно отзывались им другие,— и вся тоска души, и вся сладость жизни сказались в страстной песне. Звуки затихли, мешаясь с вечерним благовестом, и братья бросились обнимать друг друга. «Тайна души моей тебе знакома»,— сказал один. «Посмотри: когда бы ты мог узнать песнь твою в этой картине!»

Окрашенные розовым сиянием неба, струятся воды, за рекой высится гора, на ней хижины, и крест божией церкви ярко сияет в лучах заходящего солнца... даль синее, чуть видно одинокое существо... не различишь лица его: оно слилось с вечерним туманом.

И картина полна была мыслью, полотно дышало чувством.

Молча, со слезами на глазах, подал третий брат руки живописцу и музыканту. Они его разгадывали. Он боялся орудием нужды людской, словом, возмутить очаровательную сферу образов и звуков: они его разгадали! Задумчиво смотря на свою картину, художник говорил о неясных мечтаниях души, о счастье любви и дружбы, о вечной красоте матери-природы (слово прекрасно, когда его произносит дружба, когда в нем дышит любовь, когда оно облекает могучую мысль человека) — он умолк... Задумчиво коснулся струн своих другой брат: звуки его проясняли тем-

¹ «Миры дремали в прекрасном юноше» (нем.).

ную даль, разгадывали тайные образы, глубоким чувством проникали картину.

И разрешились уста третьего брата: речь его досказала песнь, дорисовала картину, дала звуку образ и образу движение — и три жизни слились в жизнь одну, три искусства — в красоту. Сладко текли слезы братьев! И кто-то незримый был посреди их.

[1833]

Мз неперуцкы

1. Я. М. Неверову

26 марта 1833. Москва

Мой Генвары! Сегодня утром получил я письмо твое; не спешу отвечать, не знаю, когда кончу мое, но спешу благодарить тебя и поделиться впечатлениями. Как мне интересны, более нежели интересны, твои известия о спектаклях и тому подобном! С тех пор как ты уехал, мне не с кем говорить об искусстве, а ты знаешь, как я люблю его! Прибегнешь к тому, к другому, но встречаешь камни холодные или запутанные умы. Марья Афанасьевна, о чем ни говори, сойдет на свою метафизику, Алексей на Лидию, Строев на русскую историю... и еще на 1-й период, или поймут каламбуры. Иногда с кем-нибудь думаешь сказать два слова от души, которая полна через края... что ж? Кончится тем, что или не поймут, или скажешь совсем не то, что хотел сказать, ибо человек, которому говоришь, как-то видом уже сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое. Сию минуту или несколько минут, с час, как пришел из университета, подурчился, покаламбурил с Строевым и Ефремовым. Они ушли. Я послал Ивана к Глазунову за какой-нибудь краткой русской историей, сам придвинулся к столу, надевши свой серый сертук, хотел читать Коха и задумался. Что-то проскользнуло по душе, что-то в ней зашевелилось... одним словом, я пришел в то неопределенное, полупоэтическое, полугармоническое состояние, о котором мы часто беседовали, стал было писать стихи... Но чувство было слишком в себе сосредоточено, не сдружилось с мыслью; последняя вполнину его разгадывала — стиха два заскрыпели, и чувство испугалось. Я сел за фортепьяно, стал колотить по нем без толку — и ты представить себе не можешь, какое непреодолимое, мучительное влечение пробудилось во мне. Я ни за что не стал бы выражать его, чувство презирало выражение в эту минуту, но это было не сладкое ощущение, а мучительное и безнадежное. Если верить эстетическому замечанию, что чувство изящного сопровождается стремлением к

бесконечному (ну, к чему бы то ни было), которое делается сладким чрез надежду соединения, то не знаю, как назвать мое ощущение. В моем чувстве господствовала безнадежность соединиться с тем, к чему душа стремилась, а к чему? Ей-ей не знаю [...]

2. Я. М. Неверову

2—3 мая 1833. Москва

2 мая

Мой Генварь! Сию минуту я из театра. Торжествуй, Европеец! Я побежден. Слышишь ли ты? Я побежден! Слезы Каратыгина это сделали! Друг мой, я все ему прощаю, все фарсы за эти божественные слезы. Эссекс, получив известие о том, что он^ж должен умереть через час, начинает молиться: Каратыгин стал на колени и, прослезившись, молился превосходно! Душа художника, душа поэта смотрела из него в эту минуту! Пьеса не слишком хорошо обработана, но перевод хорош. Потом играли «Валерию». Каратыгина была превосходна в роли слепой, а он в роли ее любовника. Мельгунов, Шевырев, Максимович и я кричали до упаду, до безголося — два раза вызвали чету после второй пьесы (кроме раза за трагедию) и кричали: «Еще, еще!» Нам объявили, что в четверг дадут «Эссекса». Мне бы интересно было посмотреть «Коварство и любовь», о которых мы кричали!..

3 мая

Мое здоровье ни то, ни се, но, кажется, получше; насчет твоего я беспокоюсь. И петербургский климат и его люди — все должно на тебя действовать враждебно. Если нужны сравнения, à la Киреевский, философские, то я скажу: Москва — идея, Петербург — форма; здесь жизнь, там движение — явление жизни; здесь — любовь и дружба, там — истинное почтение, с которым не имеют чести быть и т. д. Берегись продажных объятий и гладко причесанных друзей; смотри чаще на море, красу и прелесть сухого Петербурга, читай Жан-Поля, гуляй в Петергофе и думай о Сокольниках. Будь Москва в душе, но в Петербурге — Петербург с виду [...] Твой друг Станкевич.

18 мая 1833. Москва

Друг мой Генвары! Тысячу раз благодарю тебя за первое письмо твое. Оно у меня сохранится, как и все твои письма [...]

Ко мне ходят Строев, Беер, Красов, Почека и чаще Ефремов. Вот весь очерк моей жизни! Вот *compendium*¹ бытия моего, *Hauptdata*² моей деятельности, канва моего существования. А что по ней шьется? Безобразные пестрые узоры — ни одного порядочного цветка, ни одного заманчивого образа, *fond*³ — серого, неопределенного цвета, а самое шитье не различишь местами с серым полем. Сухо, скучно и досадно! Душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности! и на все мир отвечает: «нет» или «подожди»! Ты, друг мой, разцветлял твоею душою мою вежетацію — теперь... Слыхал ты в старинной песне:

Много есть хороших,
Да милого нету, нету, нету!

Много есть людей с чувством, но не многие способны симпатизировать, углубляться в чужое чувство и усваивать его... но полно об этом. Эти изъяснения могут наскучить! Жалобы бесполезны! Вот тебе и разумная фраза!

16 июня, с божией помощью, намерен я отправиться в деревню. Алексей Беер обещает со мною. Там надеюсь отогреться душою — пожалуй, скажу тебе: припала мне охота развить в драматической форме «Баядеру» Гёте, — осуществить в ней мое понятие о любви, [...] представить постепенное очищение, возвышение души... Не знаю, удастся ли? Напиши мне, пожалуйста, отыскал ли ты «Саконталу» Шевыреву и что она стоит? Не говори только, пожалуйста, никому, ни Горяинову, ни другим, кому ты сказал только мое имя, о моем намерении; не отрави чада в утробе матери! Читал я «Пестрые сказки»; в них лучше всего, во 1-х, обертка, во 2-х, заглавный листок, а в 3-х, две последние повести: «Кукла женщина» и «Болван-муж-

¹ сжатое изложение (лат.).

² главные черты (нем.).

³ фон (фр.).

чина». Остальное, с позволения вашего и всей Европы, пустошь! Завтра играют «Коварство и любовь»; надеюсь быть, но не совсем надеюсь наслаждаться. Твердо уверен, что Мочалов в некоторых местах будет лучше Каратыгина, но знаю также, что всей роли не выдержит и много пакостей наделает. А Луизу! «Луиза, Луиза!» — закричу я, как Каратыгин, или «о Louise, Louise, Louise!», как Фердинанд. Луизу играет Рыкалова. В «Северной пчеле» напечатано известие об успехе бенефиса Каратыгина: оно преувеличено, но не совсем неверно. Только, друг мой, «Северная пчела» приняла этот даровой мед на свои неуклюжие лапки не с тем намерением, чтобы поддерживать достоинство искусства, но с тем, чтобы чем-нибудь похвастаться перед Москвою, которую издатели ее так ненавидят, как я их. Это обидно! Я полюбил игру Каратыгина, но мне это досадно. Да и не добрый тот человек, который эту дрянную газету делает органом своего мнения. Уж, право, лучше в «Молве» ратовать. В ней и добро есть и сору довольно. А «Северная пчела» — с позволения сказать — принадлежит к роду тех пчел, которые берут себе мед с отбросов! [...]

Сейчас читал я некоторые сцены из «Дон-Карлоса» Марье Афанасьевне; я давно не читал его, поэтому отрывки для меня не имели такого интереса, как целое!.. Но сцены маркиза Позы трогали меня относительно — я привык с понятием дружбы соединять мысль о тебе; по крайней мере, если то, что я к тебе чувствую, не дружба, то дружба должна войти в ряд прекрасных мечтаний: она не существует! Но полно об этом! Будем говорить друг с другом о всех предметах, которые всегда нас интересовали, станем писать друг к другу почаще, письма будут заменять для нас, хоть несколько, беседу (чаю, жаль, недостает!). Поверишь ли, друг мой, что, прочетши твое письмо, я стал как-то — скажу нескладно — гармоничнее (mehr harmonisch) и точно поговорил с тобой. [...]

Искусство делается для меня божеством, и я твержу одно: дружба (или любовь — последняя род, первая — лучший из видов и священнейший) и искусство! Вот мир, в котором человек должен жить, если не хочет стать наряду с животными! вот благотворная сфера, в которой он должен поселиться, чтобы

быть достойным себя! вот огонь, которым он должен согревать и очищать душу! С кем же делиться чувством, которое рождает искусство, как не с другом? Я тебе надеюсь дать отчет об нашем мизерабельном представлении «Коварства и любви». [...]

Если на вакации удастся мне написать «Баядеру» так, как хочу, то пришлю ее первому тебе.

...Признаюсь, я эгоист: положение твое очень незавидно, но и тут я позавидовал маленькому твоему утешению видеть Шекспирова «Гамлета» вполне на театре, слышать сумасшедшую Офелию, и при хорошей музыке, при хорошей актрисе! О, это наслаждение! А потом Шиллера... Но... все это хорошо, когда жизнь обеспечена и когда есть родные души. Впрочем, почти хорошенько Вронченка перевод; верно, многое на сцене было выпущено [...]

4. Я. М. Неверову

20 мая 1833. Москва

Любезный друг Генварь! Наконец видел я «Коварство и любовь» из первого ряда, и видел в роли Фердинанда Мочалова. Ну что? спросишь ты. А вот видишь: чтобы вернее передать тебе впечатление, которое на меня сделало вчерашнее представление, опишу, как я был к оному приготовлен. Прихожу в театр в 6 часов: в креслах человек пять, из лож занято не более десяти... Какое неприятное чувство делает безлюдность там, где мы привыкли видеть множество людей,— ты знаешь. Я ушел и стал таскаться по французским книжным лавкам и искать «Саконта-лы»; нигде ее на нашел. [...] Прихожу опять в театр: в креслах человек тридцать, лож занято побольше, но все пустота! При такой пустоте вдруг начинает играть музыка — это что-то было похоже на похороны! Я вошел в театр... с дневного свега и мне казалось ужасно темно... в средних рядах пустота (люди в первых и в стульях), и над ними висит лампа, так что под нею ищешь глазами покойника. Вдруг — погребальные звуки, знакомые и нравившиеся тебе в антрактах, потянулись... наконец поднялся занавес. После разговора Миллера с женой является Рыкалова,

О Луиза! Как дурна ни была Каратыгина в этой роли, но я почувствовал к ней *Sehnsucht*¹. И как можно хорошо играть среди этаких уродов! Наконец говорит Миллерша: «Вот и он!..» Я приподнялся, вбегает Мочалов, бегом, с пожиманием плеч... нехорошо! «Браво!» раздалось. Топот и рукоплескания продолжались минуты две! Он стоял наклонившись, потом стал говорить с Луизой! Я впился в него! Никакой мимики! Это первое произвело на меня неприятное впечатление! Признаюсь, трудно, какому бы то ни было, актеру понравиться публике наружностью после Каратыгина, но голос у Мочалова очарователен — там, где следует он влечению чувства, все переходы его голоса прелестны. Вообще он играл неровно, больше дурно,— да и невозможно было хорошо играть с таким уродом Луизой, нельзя разыграться чувству! Вот сцена с отцом; когда он говорит: «Не для меня!» он был хорош; он сказал это тихо, с достоинством, с уважением к отцу и благородным презрением к коварству! В сцене, где защищает он Луизу от президента — он был неверен; хорош, когда узнает ее неверность, но все это — не выдержано, испорчено гадкими ухватками. Лучше всего говорил он: «Ты была для меня все, и так легкомысленно лишить меня всего — ужасно!» Он был превосходен. О письме расспрашивал, против моего чаяния, дурно, но «солги!» сказал — прелесть! Прошу же судить об игре его. Мое впечатление — ни рыба, ни мясо. Вслед за тем давали пустой фарс, переделанный из повестей Рудого Паньки; он назван: «Вечер на хуторе близ Диканьки». Ни одна рожа по-хохлацки не умеет говорить, но Щепкин — гений. Он говорит прекрасно по-малороссийски и настоящий хохол! Есть смешные фарсы, а пьеса вздор. После, как водится — пляски. [...]

Мочалов, по-моему, рожден с талантом. Несмотря на свое пигмейство, он мог бы быть чудом, если бы занялся обработыванием своего таланта. Но это человек, не имеющий понятия об искусстве, несколько не владеющий собою; всю пьесу он рвет и мечет, ни разу не станет как надобно, крутит темляк на шпаге, стоя в самой дисграциозной позе, гримасничает, — ну, словом, досадно! С его талантом упасть так глубоко! Помнишь, как в 5-м акте Каратыгин становится под-

¹ влечение (нем.).

ле Луизы? Мочалов просто вошел и стал, сложив руки на шляпу, у двери. Эта поза была не дурна, не без мысли.

Театр становится для меня атмосферою; прекрасное моей жизни не от мира сего. Излить свои чувства некому,— там, в храме искусства, как-то вольнее душе; множество народа не стесняет ее, ибо над этим множеством парит какая-то мысль; она закрывает от меня ничтожных, не влеблющих голосу божественной любви в искусстве... Наше искусство не высоко, но театр и музыка располагают душу мечтать об нем, о его совершенстве, о прелести изящного — делать планы эфемерные, скоропреходящие... но тем не менее занимательные. [...]

5. Я. М. Неверову

2 июня 1833. Москва

Мой Генварь! Не знаю, как благодарить тебя за твои письма! Кроме того, что они приносят мне известие о тебе, о жизни души твоей, они еще очищают мою собственную душу! Мне досадно, что ты (не досадно, ибо я хочу, чтобы ты был всегда хорошего мнения обо мне, но как-то совестно) представляешь меня себе гораздо лучше, нежели я в самом деле есть. Ты полн чувств возвышенных и смотришь в стекло этих чувств на все тебя окружающее: они для тебя расцветивают жизнь — ты оптимист! Если бы другие обстоятельства твоей жизни шли иначе, то я мог бы назвать тебя счастливым! Небо в душе твоей, и ты не постигаешь состояния души, когда это небо одевается мрачным покровом, и враждебный дух льет отраву на лучшие дни жизни. Конечно, этот враждебный дух не загадка в XIX веке. Он не рогат и без хвоста! Не бегает черным пуделем и не берет кровавых расписок. Мы сами создаем себе демона-мучителя, мы и мир, который губит или все прекрасное в душе человека или его самого! Ты разгадываешь меня: ты пишешь, что заметил и *Sehnsucht*¹ и тайную грусть во мне! Но ошибся, если думаешь, что это — полнота любви... тогда в мучении была бы сладость!

¹ Здесь: томление (нем.).

Впрочем, реши сам, какое это состояние души? Часто я делаю такое сравнение: мое страдание не есть страдание человека, который возвысился над миром и не находит в нем отголоска себе, не есть страдание духа выпященного, которого тяготит ярмо сует, но страдание падшего, который постиг и блаженство и бездну, разделяющую его с этим блаженством! Иногда я других мыслей о себе, я думаю: по крайней мере, они счастливее меня потому только, что их счастье ниже моего, и тут отрадное чувство опять пробуждается во мне. В самом деле! Если я не люблю никакой девушки и не испытываю блаженства волокитств, то отчего это? Я волочиться не способен, а для любви возвышенной... о! условий слишком много даже для того, чтоб искренно интересоваться девушкой, любить ее душу и погружаться в наслаждение ее образом, видеть в ней истинно прекрасное произведение, льстить самолюбию своему, что это прекрасное умеет меня оценить и чувствует ко мне влечение! Этаких я не вижу — от этого я лишен многих наслаждений; но я выше человека, который посвящает пыл души своей закланной кокетке, дубовому отрубку или безобразию в образе человеческом (что также случается у безвкусных самолюбцев). С другой стороны — я не поэт (прошу не возражать: я искренен и чужд пустых претензий), я не могу звучно и стройно воплотить чувство, не могу даже уяснить его себе, но зато у меня есть чувство, и я не опишу обеда в гладких стихах, не поздравлю с праздником начальника. У меня нет терпения, нет сил для огромных ученых занятий, но я не убью всю жизнь на рысканье по балам, и она вся предана будет дружбе и искусствам (кто знает? может быть, и любви!) [...] Я думаю о любви, как Prinzessin Eboli¹, и не расточаю этого чувства. [...] Довольно об этом. «Баядеру» я бросил было писать, но напишу — во-первых, сюжет гол для драмы, во-вторых, неприятно видеть что-нибудь прибавленное к гениальному произведению, — даже отвратительно, тем более, что если я и понимаю мысль Гете, то не выражу так хорошо, как понимаю, а другие скажут, что профан обезобразил chef-d'œuvre. Но я напишу для себя и для тебя, если напишу. Еще одно слово:

¹ принцесса Эболи (нем.).

в деревню не писать ни о любви, ни о «Баядере» — там письмо твое попадется не в одни руки, а это пусть будет заветным! [...]

6. Я. М. Неверову

7 июня 1833. Москва

Друг мой, Генварь! [...] Я уже писал к тебе, чтоб в деревню не писать о «Баядере», о любви и о том, что называется *лишним* в письмах издалика — теперь повторяю мою просьбу. Ты письмо мое получишь ближе недели; отвечай в Москву поскорее и свободно — я дождусь твоего письма, в последующих будь осмотрительнее. Теперь же — воля покуда!.. Давно не был я в театре, давно не наслаждался ничем изящным; сегодня только гулял с Беером по Кремлю и немножко пофантазировал — прекрасный вечер, Москва, Кремль, Замоскворечье, божьи церкви (в Москве иначе их не назовешь) и далекое, далекое поле, местами лес... Мы поговорили о тебе; к нам подошел какой-то старичок (кажется, Слепцов), потолковали о старинном виде Кремля, о Москве, о приделе к собору, где погребен Грозный, и через Александровский сад, где проза опять наполнила мою душу, мы возвратились. Алексей пошел в французскую книжную лавку искать Байрона, а мы с Красовым домой. Он будет ночевать у меня и учить теперь Кистера; хочет приписать к тебе. С ним читали мы Козлова; прочти, пожалуйста, в нем: «На отъезд» и «Новые стансы». Когда душа твоя будет в неопределенном, грустном состоянии, прочти их: ты сосредоточишься, и тебя обнимет грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидел неподвижно, повторяя стихи, сладкие и задумчивые [...] Жму тебе руку. Твой Станкевич.

7. Я. М. Неверову

11 июля 1833. Удеревка

Пора положить конец нашему молчанию, любезный Генварь! [...] Вот уже больше двух недель мы живем в деревне, Алексей со мною. Он делит охоту,

делит все, и жизнь в деревне мне вдвое приятнее с ним. [...] Что касается до творчества, я об нем и не думал! [...] Мы с Алексеем перебрались теперь в палатку, раскинутую в саду, и намерены там чем-нибудь заниматься, разумеется, чем господь приведет. Между тем я успел прочесть 1-й том «Scènes de la vie privée»¹ Бальзака и 1-й том Виландова «Оберона» — о впечатлении последнего на меня напишу тебе, когда прочту [...] В «Сыне отечества» прочел также начало статьи Никитенко, петербургского адъюнкт-профессора, «О происхождении литературы»; видно, что занимается и имеет один взгляд на предмет [...] Твой друг Станкевич,

8. Я. М. Неверову

24 июля 1833. Удеревка

Любезный Генварь! Нынешнюю пятницу, 21-го июля, получил я письмо твое от 10-го с. м. с видами Петербурга и описаниями. [...]

Очень рад, что Одоевский вложил тебе в душу «Песню Миньоны». Мне она давно понравилась — дурное слово! — давно полюбилась. И я постигал, как надобно исполнять ее — теперь ты совершенно написал мне то, что я думал. Но друг мой! ты слишком неосторожно делаешь, читая вздорные мои бредни таким умным людям, каков Одоевский; если он был так вежлив, что похвалил, или на ту минуту так снисходителен, что открыл тут какое-нибудь чувство, то он мог быть и менее вежлив и более строг и откровенен. Для тебя эта мечта имеет цену, как мечта человека, тобою любимого, которого некоторые идеи ты так же любишь, как и его самого — но объективной прелести она не имеет. Я это говорю совсем не из скромности, но по убеждению; я и писал это «так», чтобы выразить мысль мою о родстве искусств, мысль, которую я хотел бы сказать тебе, — как же подвергать ее суду постороннего, не говоря уже, Одоевского? Но тем не менее, благодарю я тебя за твое доброе желание! Похвала такого человека, как Одоевский, из каких бы она источников ни выходила,

¹ «Сцены частной жизни» (фр.).

для меня интересна и льстит моему самолюбию, в этом случае я сам себя обманываю, ибо сам уверен в ничтожности того, что он хвалил. Что касается до вашего спора, то не могу тебе отвечать системою, но скажу, как могу, что думаю. Не буду говорить: поэт должен воплощать идею, поэт имеет право высказывать чувство или не имеет, а буду рассматривать произведения, которые нельзя не признать поэтическими, и спрошу: воплощена или высказана в них идея? Когда я читаю балладу Гёте «Gott und Bajadere»¹, то я нигде не встречаю ни одной цитаты, ни одного та-хите; ошибется и тот, кто последние стихи:

Die Götter, sie heben verlorene Kinder
Mit feurigen Armen zum Himmel empor!²

примет за мысль целого стихотворения. Эта цитата — нравоучение, не разрушающее индийского колорита, выброшенного на целое. Между тем как ярка идея целого! Душа преступная очищается божественною любовью! Здесь не высказана, но воплощена идея. Возьмем еще Шиллера: «Resignation»³. Кажется, поэт высказывает свое отчаянное убеждение: два цветка существуют для человека — надежда и наслаждение; кто сорвал один цветок, тот не требуй другого; но мощная фантазия, окрыляемая раздраженным чувством поэта, создает деятелей, которые совокупно развивают эту мысль, не столь поэтическую в устах обыкновенного человека, недовольного вечным жребием. Вечность отвечает на ропот бедного сына земли и уничтожает его этим ответом! Как много тут поэзии!

Разумеется, поэт не говорит себе: разовьем мысль такую-то, ибо в сем случае он развил бы ее логически. Нет, он часто повествует факт жизни, в чудном свете явившийся душе его, без сознания, что сей факт развивает великую идею. Не верю, чтобы Шекспир имел ясное (логически ясное) понятие о смысле

¹ «Бог и баядера» (нем.).

² Станкевич имеет в виду следующие строки:

Раскаянье грешных любимо богами,
Заблудших детей огневыми руками
Благие возносят к чертогам своим.

(Пер. с нем. А. К. Толстого)

³ «Отречение» (нем.).

своих драм; он творил «так», потому что «так» являлась ему жизнь и возбуждала его гений. Наш век, привыкший к отчетливости и способный дать себе отчет в высоком ощущении, объясняет смысл оных. Часто идея, без сознания развитая, действует на нас гармонически (поэтически), но ясно нам не представляется, с некоторым напряжением ума мы уже даем себе яснейший отчет в оной. Там, где поэт, сильно чувствуя, высказывает самого себя — он воплощает идею, отдельную от высказываемых им мыслей: именно идею человека в таком состоянии, в каком он находится. Я, может быть, темно выражаюсь, надеюсь впоследствии и на досуге яснее тебе рассказать это, скажу только на первый раз, что я согласен с Одоевским. Что касается до безделки, написанной мною, то смешно и рассуждать о ней, но такой род существовать может, — это род дидактический, смешанный, не чистопоэтический, где изящное *subside*¹. В роде Платоновых бесед. (Но таковые роды существовать могут). Есть поэзия и в философских системах, в построении их, но это — когда философ из одной главной идеи строит мир идей, отдельную, свою вселенную. Но об этом после. [...] Твой друг Станкевич.

9. Я. М. Неверову

14—15 сентября 1833. Москва

Любезный Генварь! Наконец прерываю долгое молчание. Ты недоумеваешь о причинах одного. Вот тебе объяснение: я, приехавши в Москву, не имел еще времени сесть и взяться за перо. Папенька и братья с их потребностями — вот что меня отвлекало, и я в день не больше пяти минут проводил в комнате. По этому самому не переслал я тебе и книг, теперь они летят к тебе по почте. Наталья Андреевна доставила мне первое письмо твое, второе я получил также чрез Бееровых. Благодарю тебя, друг, и стану отвечать. На многое отвечать мне хочется, на кое-что отвечать есть моя священная обязанность. Исполню ее во-первых.

¹ субсидия (фр.).

Проклят тот, кто первый осмелился осквернить память чудесной девушки и заставил других усумниться в благородстве Почеки! Разуверься, мой друг, будь покоен: он не изменил себе! Краткое их знакомство ознаменовалось, напротив, самым благородным поступком Почеки. Чувствуя дружбу к этому чистому созданию и зная ее к нему расположение, он дал ей совет, предостерегал ее от ужасов, в которые могут вовлечь молодую девушку лишняя доверчивость к людям и свобода чувства! Никогда мысль о гнусном преступлении не приходила ему в голову. Он все рассказывал мне: я как будто незримо присутствовал при всяком их свидании, при всяком разговоре. Перед отъездом из Москвы я описал было тебе подробно весь ход этого происшествия, искаженный потом гусною клеветою, но, не знаю как, не успел отослать тебе письма, и оно затерялось. Скажу кое-что теперь. Почека, как тебе известно, стоял против церкви, у Золотухиных; ты помнишь сына их, молодого человека, посещавшего Почеку весьма часто. Эти Золотухины имеют дочь и имели довольно забавные виды на Почеку. Последний не хотел забавляться над ними и удалялся от них, сколько возможно было, не нарушая вежливости. На беду в этом доме стоял известный музыкант Гебель с семейством. Его дочь Эмилия (у него есть еще другая, а умершая Эмилия — я уверен — мнимая дочь его) как-то познакомилась с Почекою, кажется, у Золотухиных. Весьма естественно, что невинная 16-летняя девушка с чувством и образованием привязалась всей душою к такому человеку, каков Почека. Я не проникнул, как глубоко было чувство Почеки, но знаю, что он чувствовал к ней нежную дружбу, если расположение к прекрасной девушке может быть названо дружбою, и уважал ее как святыню. Хозяева, заметив их взаимное равнодушие, стали препятствовать их свиданиям. Бывало, чуть Эмилия и Почека явятся на галерею, Золотухины дочь тут и есть. Все это было довольно забавно. Скоро Золотухины переменили квартиру, и Почека переехал с ними. Эмилия подарила ему на память изображение, вырезанное ею из черной бумаги: береза свесилась над памятником, мужчина преклоняет перед ним колена. Что за девушка! Как таинственна судьба ее!

Она рассказывала Почеке, что одна женщина раз в год приходила к ней и говорила ей об отце, Эмилия не знала даже имени его. Раз снился он ей, он спрашивал: «Зачем ты не молишься об отце?» «Как мне молиться?» — отвечала она, — «я имени его не знаю», «Пиши имя мое цифрами», — сказал он. Она стала писать, но ничего не помнит... Кажется, Гебель имел выгоды скрывать ее настоящее происхождение, ее убеждали принять католическое исповедание, а она была греческого, между тем как все семейство Гебеля — католики! Много чудес слышал я: однажды маленький сын Гебеля говорил в бреду: «Мы не стоим того, чтобы называть Эмилию сестрою». Кормилица спрашивала Эмилию перед отъездом Почеки, о чем она тоскует? «Кто тоскует?» — спросила тада-те Гебель, входя в комнату, — «Эмилия? Ах! как мы перед ней виноваты». С этими словами она заплакала.

Я тебе описываю все эти подробности, чтобы ты мог представить себе это существо в таинственном свете, которым оно облечено для меня. Это новая Миньона! Кроткий гений, смущенный земными тревогами и отлетевший от людей! Вскоре после переезда Почеки на другую квартиру он встречается с настоящей дочерью Гебель, которая извещает его, что Эмилия умерла. Он в эту минуту ничего не чувствовал, он не мог верить, не мог плакать — уже через несколько часов, когда сознание возымело в нем свою силу, он начал плакать. На другой или третий день я узнал об этом. Мы с ним хотели быть на погребении, но ошиблись — приехали не в ту церковь. Он ездил с Золотухиным, я с Алексеем. Когда мы приехали в католическую церковь, за Красными воротами, то печальная колесница уже возвращалась. Мы отправились с Алексеем на немецкое кладбище. Гебель уезжал оттуда. По узкой тропинке, между дерев и памятников, пошли мы отыскивать свежую могилу. Я был в самом грустном расположении духа: и место, и происшествие сильно на меня действовали. Почека с Золотухиным встретились с нами. Они не могли отыскать могилы. Мы соединились и наконец нашли ее. Нужно ли говорить о сцене над грустным прахом? Мы молчали; всякий из нас стоял, отворотившись в особую сторону. Мы четверо как будто построили каре против людей вокруг свя-

щенного праха. Гебель, вероятно, услышав, что его к ней отношения сделались известны чрез Почеку, стал распускать нелепые слухи — говорят, Г[ерцен] тоже много врал, но — друг мой! твое мнение священо для благородной души Почеки! Разбей сосуд клеветника! Почека верен своему прекрасному чувству; печальная могила Эмилии не может быть ему упреком. [...] Друг твой Н. Станкевич.

10. Я. М. Неверову

15 сентября 1833. Москва

Мой друг Генварь! [...]

Вчера я читал Гёте с Марьей Афанасьевной. Эта женщина удивительно понимает искусство. Я поклонялся бы ей, если бы странные претензии не внушали мне к ней некоторого отвращения... но бог с ними и с ней! Мне хотелось показать ей Гёте с разных сторон. Я прочел ей, разумеется, с выпусками, во-первых, «Der Gott und Bajadere». Это создание удивило ее!.. Она не ожидала этого от Гёте! Идея всезидущей любви, которую дышит эта легенда — ей родная с давних пор. Я тоже как будто вновь понял ее! «Kenner des Groszen und Tiefen»¹, как человек действует между человеком. Он не бросает перунов с неба, чтоб разрушить падшее создание, чтоб зажечь жизнь прекрасную, но орудием преобразования избирает земных могучих деятелей — *любовь* и *горе*. Очищенная ими жизнь отлетает к источнику жизни! За этим я прочел ей балладу «Der Fischer»², где выразилось невольное влечение, которое мы испытываем, смотря на спокойную поверхность воды, отражающей небо в своих недрах, потом «Erlkönig», «Sänger»³ и, наконец, гигантское порождение гения: «Die Braut von Korinth»⁴. Нельзя не пасть перед Гёте, прочитав это создание! Грозный союз любви и смерти, бледные уста, пьющие кровавое вино, мертвая грудь, согреваемая сладострастным пламенем, и сила юности, ис-

¹ «Знаток великого и глубокого» (нем.).

² «Рыбак» (нем.).

³ «Лесной царь», «Певец» (нем.).

⁴ «Коринфская невеста» (нем.).

парившаяся в один миг наслаждения,— овладевают душою, потрясают все нервы так, что по окончании чтения чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствует в природе после ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба и звезды едва начинают блистать, освобождаясь из-под ее покрова... Твой Станкевич.

11. Я. М. Неверову

12 ноября 1833. Москва

Любезный Генварь! [...]

Сегодня я читал Вельтманова «Кашея»: начал со второй, прочитал ее и третью часть, теперь дочитываю первую; так случилось, но все равно. До половины второго тома он описывает предков своего героя, а дальше — черт знает что! У него местами встречаешь прекрасный образ выражения, но все это не сосредоточено никаким господствующим чувством, точно как и все события романа не липнут ни к какому главному событию. Черт знает, что за винегрет!

Начал я между тем читать: «*Seltsame Leiden eines Theater-Direktor's*»¹. Прочел еще только несколько страничек и нашел уже много кой-чего по душе, хотя иные немецкие выходы и сделались в наше время пошлы. Но как виден Гофман в каждой безделице, в изображении и т. п.! Я еще очень мало прочел.

В моей голове бродили эту неделю фантазии и замыслы, почти уже оставленные мною по обыкновению. Мне хотелось написать лирическую драму или драматическую фантазию — назови, как хочешь. Главное дело в том, что самая идея, меня преследовавшая, представилась мне не в драматической форме, т. е. не событием, а просто: чистою идеею. Вследствие этого, чтоб развить сию идею в драму, нужно было придумать событие — придумывание уничтожает поэзию. Вот почему я не решаюсь писать драмы, хотя вымысел начал было составляться для нее. [...] Теперь еще от тебя совета. Надеждин (по секре-

¹ «Необычайные страдания некоего директора театра» (нем.).

ту: я дал ему честное слово никому не сказывать) предложил мне написать оперу, но для сюжета избирает «Конрада Валленрода». Музыку писать хочет Варламов. Писать на заданную тему неловко, а еще более соперничать с Мицкевичем, ибо Надеждин сказал, что надобно устранить все из поэмы, кроме события, кроме идеи. Впрочем, мне придется написать только несколько арий, дуэтов, квинтетов и т. п. Может быть, я это и сделаю, если буду в состоянии чувствовать те положения, которые они мне дадут. Должно ли это делать?

Впрочем, во всяком случае, пожалуйста, молчи, иначе, если б оперу и смастерили, я мог бы подвергнуться многим неприятностям. Для меня, никому не рассказывай. Подобные увещания я делаю потому, что ты никак бы не подумал, что такой вздор заслуживает быть хранимым, аки клад. [...] Друг твой Н. Станкевич,

12. Я. М. Неверову

1 декабря 1833. [Москва]

Любезный Генварь! [...] Каченовский еще не давал нам тем, но я непременно намерен писать что-нибудь о Новгороде или о его торговле. Описание торговли и отношения голландских городов в Шиллеровой истории «Отпадения Нидерландов» увлекло меня: я воображаю, как много можно открыть любопытного в истории сношений Новгорода, приняв за основание достоверные факты и держась оных добросовестно. Для этого предмета есть и источники. Признаюсь, меня не достанет на брожение в бессущной пустоши первого периода русской истории. [...] Надеждину я буду писать или историческое рассуждение о связи изящных искусств с религиею или историко-теоретическое, о театральном искусстве. [...]

Глазунов (Ник. Ник.) напечатал «Горе от ума» очень опрятно, но, злодей! местах в трех, а может быть и больше — я еще не все прочел — без всякой нужды, от недосмотра, выпущено по целому стиху! Да еще какая странность: цензор не пропустил здесь многого даже из того, что пропущено на сцену! [...]

Максимович издает на будущий год «Денницу»; на его приглашение и я отдал ему две пьесы в стихах: «Фантазия», которую ты уже знаешь, и другую: «На могиле Эмили». В последней Цветаев делал такие смешные привязки, что едва можно верить, например: в одном месте я назвал человека *земным богом* и потом *прахом*; он говорит: «Как можно бога прахом называть?» Между тем явно, что дело идет про человека! [...]

А проpros¹. Про стихотворения женские! Стихотворения Тепловой прекрасны; разумеется, это не абсолютное изящество стихов мужчины; ее стихи не могут быть могучи, не могут поразить душу, возмутить ее от самой глубины, но это истинное чувство; редко, редко встречаешь претензию на звание пииты — и то это не претензия, а простодушная вера в свое назначение. [...] Друг твой Н. Станкевич.

13. Я. М. Неверову

15 декабря 1833. Москва

Друг мой Генварь! [...]

В свободный же час, о чем ни есть, я рад с тобою беседовать. Мельгунов, скоро после того, как отказал мне, просил меня через Ржевского навестить его; он и Шевырев очень жалели, что не видали меня тогда. [...]

Я говорил им о намерении моем писать для Надеждина историю театрального искусства. Они обещались доставить мне многие материалы. Шевырев советовал мне писать о живописи, во-первых, потому, что для истории этого искусства несравненно более материалов и материалов очищенных, так что обработка их не стоит большого труда; во-вторых, потому, что сведения по этой части могут принести мне пользу: я буду иметь понятие о различных школах живописи, о тех произведениях, которые в будущий мой вояж должны обратить на себя мое внимание, но я не так знаком с живописью, я еще очень мало знаю ее на деле, а писать историю ее, в таком случае, совестно! К тому же театральное искусство име-

¹ Кстати (фр.).

ет для меня особенную прелесть как искусство, мною любимое и как искусство высокое, но неблагоприятное!

Как бы то ни было, я желаю воспользоваться случаем ознакомиться с историею живописи и убеждаю Красова взять этот предмет для своей диссертации. Он каждый день почти ночует у меня, и я буду перечитывать все его материалы, которые достану ему от Шевырева.

Я прочел «Seltsame Leiden eines Theater-Direktor's», купил ее и покуда читал, вертелся, взявшись за нос, наподобие молодого человека, о котором ты рассказывал анекдот у Почеки. Чудная книга! Она должна быть Евангелием у театральных директоров; как рад был я встретить здесь все, что душа моя издавна таила! Вот человек, который понимал театральное искусство в высочайшей степени! С такими понятиями директор может возвысить сцену до художественного произведения! Мельгунов говорит мне, что время драмы и театров проходит, и представлял на это остроумные причины, но я с ним не согласен. Мне кажется, наступает время возвыситься театру. Искусство не погибнет, не достигши возможного развития. Сколько интересного прочту я на рождество, какое прекрасное время будут для меня праздники! Дай бог только, чтоб я был здоров. Не помню, писал ли я к тебе, что приятель твой Киреевский издает более 1000 русских песен и стихов, которые поются нашими нищими. Какое драгоценное собрание! Несколько песен будет напечатано в «Деннице». Я видел некоторые листки ее — эти песни чудесны. Вот еще достоинство; они, кажется, без всяких поправок, в оригинальной грубости.

Если успеют переписать, pošлю к тебе мою фантазию, душевную фантазию, без дальних претензий. Я не пишу ничего, не чувствую потребности — это так выдалось. Если б я влюбился, то, может быть, стал бы писать... Знаешь, что пришло мне в голову? — Я должен благодарить бога, что не люблю. Почему знать? Может быть, судьба ведет меня, как говорит Марья Афанасьевна! Я мелким чувством довольствоваться не могу, для высокого чувства нужна женщина с высокими достоинствами. Эти достоинства рожают деятельную, зиждущую любовь. Жизнь моя ста-

нет стремлением к одной цели — быть достойным ее. Если б я любил теперь, это меня бы преобразило, но оставило потом одну память счастья. [...] Друг твой Н. Станкевич,

14. Я. М. Неверову

17 декабря [1833. Москва]

Сейчас получил я письмо твое от 10-го с. м. Про «Тасса» я писал не так: я говорил про «Тасса» Киреева, и в нем исчислял сцены, а не про Кукольника. Про последнего я сказал только, что он не так дурен, как ты о нем говоришь, и что в авторе видна любовь к искусству. Впрочем и Киреева «Тасс» не совсем Тасс! Гётева «Тасса» я прочел недавно: он схватил некоторые черты поэта — и схватил превосходно! Несмотря на греческую, бесцветную обработку, «Тасс» его увлекает. Надеждину я решился писать — историю театрального искусства. Рад, что ты соглашаешься со мной в Каратыгине. Он имеет редкие достоинства, но неидеальность его в комнате ручается за неидеальность на сцене; он весьма хороший актер, но далек до художника, точно так как многие из наших стихотворцев не заслуживают вполне имени поэта. Помнишь, что говорит Гофман о средствах вынудить рукоплескания? Каратыгин беспрестанно употребляет эти средства, хотя он выбирает тоньше, нежели Мочалов. Каратыгин многое понимает, но... не понимает главного: святости искусства. Правда, Гофман извиняет в этом отношении актеров: они строят не для вечности, и более, нежели другие художники, имеют право на искание! Так!.. но сердце мое не лежит к таким актерам... Друг твой Станкевич,

15. А. А. Бееру

[1833]

Любезный Алексей! Благодарю тебя за стихотворения Тепловой — прелесты! Вот какие стихи могут писать женщины! Она в своей сфере, в кругу чувства, любви! Разумеется, это не абсолютная красота —

но чтобы стихи эти нравились вполне, надобно в понятии своем соединить их с автором-женщиною; это будет одно цельное произведение, все неопределенности получают тогда значение. Главное условие — истина чувства — есть в этих стихах. Она, разумеется, не Гомер — но я думаю, женщина и не должна иметь подобных претензий.

Красову стихи эти тоже чрезвычайно нравятся... Твой Станкевич.

16. Я. М. Неверову

2 января 1834. Москва

Друг мой Генвары! [...]

Не читал я Бальзаковых «Treize»¹ — теперь прочту. «Reau de chagrin»² читаю завтра. Но скажу тебе наперед, что из многих повестей Бальзака привык его считать не выше, как образованным, не без чувства, человеком, но без искренности, без глубины. Нашего Одоевского я начинаю очень любить! Его «Насмешка мертвого», напечатанная в «Деннице» — оазис среди пустынь этого альманаха, приводит меня в восторг своим пророческим тоном, своим фантастическим (искренно фантастическим) колоритом... Говорят, он много печатает — давай-то господи! «Аскольдову могилу» я прочел, скрепясь, хотя мне мало времени читать подобные вещи. Что это? Тонкачев — Вальтер Скотт в сравнении с Загоскиным! Брамбеуса я еще не читал. До сих пор я перечитываю Шлегеля 1-й том «Драматургии», 17-й Бартеlemi, где он говорит о греческом театре; читал латинское предисловие к Софоклу... скоро стану писать о греческом театре, потом и о новых скажу кое-что. [...] Друг твой Станкевич.

17. Я. М. Неверову

15 января 1834. Москва

Друг мой! [...]

Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Библиотеки для чтения». Боже мой! Что это? Так как это журнал ли-

¹ «Тринадцати» (фр.).

² «Шагреневую кожу» (фр.).

тературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Надобно быть невеждою, чтобы писать подобные вещи в наше время. Вкусу ни на грош, логики ни на денежку! Кажется, это подвизается Сенковский. Например: должно ли в исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, следовательно, история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике — беда! Великий Байрон! Великий Кукольник! Если Кукольник не так слаб душою, чтобы мог обольститься лестью невежды, то он должен негодовать на него, если он доволен — пропал поэтический талант, который я в нем допускал.

Бальзака «*Peau de chagrin*» я прочел. Там два характера: la comtesse Fédora et Pauline¹. Первая — прямая русская женщина и характер ее превосходно развит. Помнишь — в театре Рафаэль ждет, чтобы музыка вырвала признание из груди ее, но волшебные звуки не проникают этой груди: Федора рассеянно блуждает глазами по лолам, остановит их на нем с обыкновенною своею улыбкою — и только... Прекрасные черты! Жаль только, что Бальзак никого не слышал, кроме Россини, или, не смею сказать... не умеет чувствовать Моцартовской и Бетговенской музыки! Несмотря на искусство, с которым волшебная сила талисмана согласована с обыкновенным ходом дел, волшебство пустое, основанное на пустом поверье и окруженное действительною жизнью, разрушает свое очарование. Видишь, что и в минуту одушевления вера в истину создания не могла наполнить душу автора. Другое дело фантастические повести, где все недействительное, или где сверхъестественное имеет основанием какую-нибудь идею! «*Le Roi s'amuse*»² давно читал — эффектно, изысканно! После «*Marion Delorme*»³ Гюго не написал ничего сносного в этом роде. «*Marie Tudor*»⁴ я еще не читал. Прочту

¹ графиня Федора и Полина (фр.).

² «Король забавляется» (фр.).

³ «Марион Делорм» (фр.).

⁴ «Мария Тюдор» (фр.).

«L'un des treize»¹, если достану. А в переводе читать не хочется.

Надеждин хлопочет по своему журналу в Петербурге. Представь, что ему не позволяют выдавать 52 книжки по тому же плану, а заставляют выдать 24! Это — бог знает что! Недавно узнал, что ему разрешили. Друг твой Станкевич. [...]

18. Я. М. Неверову

11 мая 1834. Москва

Милый друг мой Генвары! Наконец пишу к тебе! [...] Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, ограничивается Красовым и Белинским: эти люди способны вспыхнуть, прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига! То, что я имел в тебе, я кое-как стараюсь сложить из многих, но, увы! сложное существо есть отвлеченное: сердца у него нет! [...] Друг твой Станкевич. [...]

19. К. А. Бееру

3 июня 1834. Москва

Милый Костинька. [...] Вчера ездил с Красовым в Архангельское и ночевал там в холодной лачужке, без подушек, без постелей, потому что забыл запастись ими — под голову кулак, а под бок и так. Бродили, ездили на пароме, пачкались, любовались статуями и картинами, а больше всего — природою, которая здесь роскошна и очаровательна. Мы целый час сидели на перилах над рекою и ушли потому только, что надобно было когда-нибудь уйти. [...] Твой Станкевич,

20. В. И. Красову

8 июля 1834. С.-Петербург

Любезный Красов! Вот уже почти неделя, как я в Питере; прошу прощения и пощады, что не писал еще ни строчки: некогда было! Минуты свободной не было

¹ «Тринадцать» (фр.).

с самого приезда! То туда, то сюда — и, между тем, ничего еще не успел видеть, ничего сделать! [...] Завтра Венециянов поведет нас в академию; я получаюсь над очерками эрмитажных картин, которые обозрел вчера летом, и с завтрашнего дня начинаю рассматривать в подробности. [...]

Петербург не то, что Москва, — и наоборот. Все улицы вытянуты здесь в одну шеренгу, здания стройны, правильны, изящны; во всем вкус, богатство — но к этой красоте надобно привыкнуть или надобно изучить ее, а где найдется *Кремль другой*, который бы остановил на себе взор европейца и варвара, который бы повеселил душу своими золотыми головками? Где наша пестрая, беспорядочная, раздольная Красная площадь, с своими бабами, извозчиками, каретами, с своим лобным местом, кремлевскою стеною и чудачком Василием Блаженным? Нет! «Едва другая сыщется столица, как Москва!» Тот, кто бестолков, как Скалозуб, скажет только: «дистанция огромного размера!» Но мы не станем говорить ничего против Скалозубов! И художник Венециянов говорит, что Москва привлекательна, а Неверов приписывает Петербургу красоту классическую, более нормальную, Москве романтическую — и я с ним совершенно согласен. [...] Твой Станкевич.

21. Я. М. Неверову

19 сентября 1834. Удеревка

Любезный Генварь! [...]

Я тебе писал уже, кажется, о плане моих занятий: я его не изменил и ему не изменил. Но так как мне не высылают до сих пор атласа из Москвы, то я отложил на время Геродота (прочитав первую книгу) и прочел несколько мелких исторических сочинений Шиллера, которые так живописны, так одушевлены, что я в месяц сделал бы удивительные успехи в истории, если бы Шиллер вздумал сам изложить ее всю. Прочел я «Систему трансцендентального идеализма», понял целое ее строение, тем более, что оно было мне наперед довольно известно, но плохо понимаю «цемент», которым связаны различные части этого здания и теперь разбираю его понемногу. Не смейся! — это одушевляет меня к другим трудам, ибо только

целое, только имеющее цель, может манить меня. Например, если бы я не читал «Практической философии» Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю, как примусь за нее теперь. Прошло время, когда блестящая мысль была для меня истинною, но потребность веры становится сильнее и сильнее, а постепенное воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований. И как отрадно видеть его в согласии с бытием природы, с сущностью человеческого знания, человеческой воли! Только — или я худо понимаю Шеллинга, или мысли его о человеке оскорбительны! Полагая, что натуральное влечение одного человека (эгоизм) ограничивает свободу другого, он говорит, что прогрессивность в истории есть улучшение общественных отношений (законов), т. е. улучшение средств противодействовать эгоизму, уравнивание эгоизмов чрез действие и противодействие. Он исключает из истории науки и искусства и допускает только по степени их влияния (больше вредного, по его мнению) на правление. Мне больше по сердцу мысль Гизо — представить в истории постепенное развитие человека и общества.

Но довольно! Может быть, и очень может быть, что я несправедлив к Шеллингу, не понимая его и говоря такие вещи; он пробудил много интересов во мне.

Я читал несколько повестей из «Contes de Jacob Bibliophile à ses petits enfants»¹. Что это за прелесть, друг мой! Прочти, ради бога! Они написаны без всякой нравственной цели, но в них чистая нравственность, и как верно характеризуется в них старая Франция, старый французский двор! как живо представлены отношения короля к придворным, отношения принцев и принцесс! Прелесть! И какие уроки есть для детей венценосцев! [...] Целую тебя, друг мой, тысячу раз и остаюсь всегда твой Станкевич.[...]

22. Я. М. Неверову

16 октября 1834. Удеревка

Любезный Генвары! Вот третье письмо к тебе из деревни — третий рапорт о моей жизни в деревне! Не обвиняй меня, если он содержанием и формою бу-

¹ «Сказки для внуков» Жакоба Библиофила (фр.).

дет слишком сходен с первыми: виновата жизнь моя — ровная, гладкая, сытая, слава богу, — без головной боли и без больших сердечных радостей. [...] Однако я прочел 6 книг Геродота и «Систему» Шеллинга, которую — простите, Януарий Михайлович! читаю во второй раз, а почему и для чего, о том следуют пункты. [...]

В старые годы я ставил единое благо в философии — так и должно было думать. То был возраст непреодолимой жажды к знанию, возраст веры в силы ума и возраст сомнений в старых шатких верованиях. Надобно было дать пищу душе, надобно было смирить междоусобие в ее недрах, надобно было запастись побуждениями к деятельности. Система сменялась системою, но круг знаний расширялся, и высокие предметы исследования поставили душу выше благ мира сего. [...] Но в моем учении недоставало прочности и постоянства. Приблизился возраст деятельности, а я чувствую, что многого не знаю. Интерес наук умалился с верою в решение высочайших вопросов. Этот интерес принял другой оборот, я ищу истины, но с нею и добра. История обещает мне много, как для одной, так и для другого. [...]

Геродот любопытен, но его детская болтливость несносна. Он рассказывает событие, и в него вплетает историю всех мест и народов, участвующих в событии, что развлекает внимание, интерес и чувство, единством которого хотел бы я обнимать каждое событие. Между тем вставки эти иногда важны сами по себе, а их, право, не возьмешься упомнить, ища главной нити в описываемом происшествии. [...] Друг твой Станкевич. [...]

23. В. Г. Белинскому

30 октября 1834. Удеревка

Любезный Белинский! Письмо твое я получил, а с ним — ясный и неопровержимый вывод моей ошибки. Как быты! [...] Благодарю за все известия о тебе, но не знаю: радоваться ли твоему обращению? Новая система, вероятно, удовлетворит тебя не более старой, хотя и удалит многие вопросы, не разрушив их, впрочем, вполне. Между бесконечностью и человеком, как

он ни умен, всегда остается бездна, и одна вера, одна религия в состоянии перешагнуть ее, одна она в состоянии наполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании. Но та система хороша, которая не мешает верованиям, составляющим интегральную часть человеческого существа и содержит побуждения к добрым подвигам! [...] Твой Станкевич.

24. Я. М. Неверову

30 октября 1834. Удеревка

Душа моя Януарий! [...] Что тебе сказать о моих планах на зиму, которые ты хочешь знать? Я, кажется, уже писал тебе о них: Москва, история, музыка, может быть, английский язык, общество Мельгунова и братии — вот моя будущность, о которой я думаю не без удовольствия! В Москву я должен ехать потому, что она представляет более средств моим занятиям, нежели Удеревка, и потому, что там братья; история — я писал почему; общество Мельгунова — потому что я его люблю, что он умен, добр, честен, чувствует, играет на фортепьяно и пишет повести; братию, т. е. бывших товарищей — оттого, что они были мне товарищами и, может быть, будут еще по занятиям, службе, по общему желанию — трудиться на пользу отечества. Но, может быть, по дороге придется заехать в Петербург, где также многое меня манит.

Януарий Михайлович! как мог тебе понравиться «Конек-Горбунок»? Я скажу как: «Это сказка», — говоришь ты (про себя), я не люблю сказок, это не мой род — от этого сказка не делает на меня впечатления; следовательно, я не вправе судить о ней по впечатлению. Посмотрим же, что в ней дурного? ничего нет; она местами забавна — чего же больше для сказки? все ее хвалят, из чего ж нибудь да хвалят? Да будет по гласу народа: «хороша!» Но, друг мой, отчего сказка не твой род? отчего не любишь сказки ты, доступный всему прекрасному? Нет, я помню, тебе нравились сказки Луганского — оттого, что они написаны прямо по-русски, что в них много души, поэзии;

оттого, что они написаны умно, колко, забавно. Из «Конька-Горбунка» я читал один небольшой отрывок в «Библиотеке для чтения». Это, как говорит Рудый Панько, сор не сор, земля не земля, прости господи! черт знает, что такое! плюнул, да и руки вымыл! Если вся сказка написана в этом тоне,— что это? что звучного в этих стихах рифма за рифмой, вялых, натянутых? что путного в этом немощем подражании народным поговоркам, которые уродуются, искажаются стиха ради и ~~никакого~~ стиха? Пушкин изобрел этот ложный род, когда начал угасать поэтический огонь в душе его. Но первая его сказка в этом роде еще имеет нечто поэтическое, другие же, в которых он стал просто рассказывать, не предаваясь никакому чувству, дрянь просто. Жуковский еще умеет ладить с такими пустяками — но что за утешение для такого поэта быть сносным? А «Конек-Горбунок» просто не-сносен! Жаль, если Ершов человек с чувством и талантом: его собьют этими глупыми восторгами! Разве не хвалят Брамбеуса? разве не хвалили на слово «Тасса»? Напрасно ты веришь более другим, нежели своему чувству: оно вернее всех суждений. Впрочем, я не читал ~~всего~~ «Горбунка», но меня ожесточают восторги пустых людей, которые беснуются черт знает из чего и портят людей с талантом — а тот затевает сибирские «Илиады»! Ну, не вздор ли это? Любопытны поверья народные: собери их, расскажи с поэтической простотой, сохраняя колорит, которым они облечены в устах народа — и мы будем благодарны и отдадим справедливость человеку, умеющему ценить всякое достояние человечества. И что за поэт, кто посягнет на эту святыню из самолюбия? начнет ломать в сонные хорёи безыскусственное сказание младенца? Это будет такая же поэзия, как всякая проза, переложенная в стихи, а поступок — не честен! Впрочем, молодой человек может скорей всего посягнуть на эти предания, не из самолюбия, а по убеждению, что в самом деле из этого выйдет что-нибудь хорошее. Прощай! [...]

20 ноября 1834. Удеревка

[...] Ты написал повесть? Если она не тяжела, разумеется, весом, а не слогом, я просил бы прислать ее мне, как между нами важивалось... А что за «повестца» для Греча? Это тоже интересно. Я давно ничего не пишу и отвык даже от побуждения писать. У меня давно вертелась одна мысль, давно я ее бросил, тем более, что плоть ее (так в потеху называю я механизм повести, который сплестать я не умею и который всегда у меня бывает преглупый) не далась мне. Теперь я принялся за нее, но, кажется, брошу, потому что все как-то идет длинно и глупо, говоря потвоему, и все боишься пошлого. Вообще — странное дело! — я никогда в деревне ничего не мог написать, но если писал в Москве, то во мне говорило всегда какое-нибудь деревенское впечатление. Не помню, от себя или из Жан-Поля нам читал Шевырев, по крайней мере по Жан-Полевски: «Жизнь должна улететь на небо и превратиться в комету, тогда она станет поэзией»... В самом деле, все настоящее или прозаически действует на душу или так увлекает ее своею поэзией, что она лишается сознания, живет в чувстве наслаждения и не может изойти в внешность, чтоб явиться образом, не имеет силы покинуть волшебный мир, в котором заключена. Когда прошло наслаждение, в грустном воспоминании является оно как что-то нездешнее, невозвратимое, недосягаемое; тогда хочешь удержать при себе память об нем, тогда начерчиваешь образы другого мира, таящиеся в недрах души, не подозревая, что это создание, а не копия... Так прекрасно кажется все то, чего нет. Мы беседовали и любили беседовать об этом с тобою. Мы всегда объясняли этим прелесть музыки для глухого и высокие звуки Бетховена, мы объясняли этим роскошь описательной поэзии у слепых. Шевырев прекрасно сказал про Гомера: если он и не существовал, он есть, т. е. может служить символом поэта: он видел мир и закрыл глаза, и пересоздал его, и одушевился своим созданием, высказал его, думая, что высказывает виденное. Истинно — слава богу! Наконец, я набрел на чувство, я хоть немножко взволнован, беседуя с тобою, а это так редко в гладкой жиз-

ни, которую я веду, не имея с кем поговорить о предметах мне близких. [...]

Тимофеева «Художника» не читал, но предубежден против него всеми сочинениями Тимофеева; может быть, он умный человек, но не поэт! Даже вкуса не подозреваю в нем после «Мистерии», помещенной в «Библиотеке», которая, впрочем, иным нравится. [...]

Да, как посоветуешь, иметь мне «Илиаду» и «Одиссею»? Я их жажду прочесть, кроме того, они мне нужны для истории и для греческого языка [...] Читал ли ты «Contes de Jacob Bibliophile, à ses petits enfants»? Прелесты! Я и не внучек его, а они мне так нравятся, как редкие повести нравились! Вот бы нашим детям (да и старикам не худо) такие рассказы из нашей истории, Чудо!

26. Я. М. Неверову

11 декабря 1834. Удеревка

Я получил письмо твое от 20-го ноября, любезный Генварь! [...] Знаешь ли ты стихотворение Пушкина «Второе ноября»? — вот верное изображение моей деревенской зимней жизни. Теперь я пишу к тебе вечером, на дворе воет метель, свеча темно горит, от грусти сердце ноет.

Голове немножко отлегло, и я могу предаться сладкому раздумью: ты не можешь себе представить, как отрадны бывают мне редкие минуты облегчения — будь я музыкант, кажется, стал бы импровизировать; слова как выражение определенных понятий бегут меня, я боюсь всего определенного, всего точного: это производит головную боль. Моцартов «Дон-Жуан» подкрепляет и утешает меня больше всего. [...]

Вот мечта моя (à propos — что значит лечиться серьезно, без романтических затей, которые у меня рождаются в болезни! ответь! и непременно!): если здоровье позволит, я стану продолжать занятия историей и намерен понемногу, со временем, составить краткий гимназический курс всеобщей истории по плану, который на свободе напишу и доставлю тебе. Не смейся надо мною! Может, я это и брошу, но надобно же иметь что-нибудь впереди. Сколько мечтаний

не сбылось! [...] Будь здоров, покоен, верь моей дружбе и, при случае, замолви у министра словечко за будущего почетного смотрителя, друга твоего Станкевича.

27. Я. М. Неверову

26 декабря 1834. Удеревка

Любезный Генварь! [...] Благодарю доброго Краевского от имени Филиппа Зарича за внимание к болтовне его, хотя реченный Зарич очень хорошо знает, кому он обязан этими лестными отзывами и каким органом Краевский понимал его. Благодарю тебя, душа моя, но я не ослеплен и знаю, что из многочисленных повествователей русских, которых не терпит душа моя, Зарич едва ли не худший. Я говорю это без всякого жеманства. Прощай, душа моя! Писать больше не успею. [...] Целую тебя в лоб и остаюсь всегда друг твой Н. Станкевич. [...]

28. Я. М. Неверову

2 января 1835. Острогожск

Любезный друг Генварь! [...] Теперь я приехал в Острогожск. Здесь завели собрание: да-с, прошу не шутить. Ты согласишься, что грех был бы пропустить случай полюбоваться на него. Главные действующие лица в этом собрании, вероятно, будут пехотные офицеры из резервных батальонов, которые стоят в нашем городе. Наши, вероятно, не поедут в эту ассамблею, но мне — как не побывать? Братья и сестры приедут сюда послезавтра заплатить визит соседям и поплясать на их домашних вечерах. Я взял с собою Балзака «Les Marapas»¹ и «Eugénie Grandet»², чтобы прочесть их в промежутках.

Наконец прочел я два эпизода из «Histoire des

¹ «Мараны» (фр.).

² «Евгению Гранде» (фр.).

Treize»¹. Особенно нравится мне «Ne touchez pas-la hâche»². (2-ой эпизод). Прочти его непременно. [...] Друг твой Станкевич.

29. Я. М. Неверову

24 января 1835. Москва

Друг мой Януарий! Вот я и в Москве. [...] Вчера здесь играли «Ричарда III». Все шло довольно скучно, но вот пятое действие: ночь покрывает сцену, хромой Ричард в пестрой ставке борется с совестью. Мочалов становится хорош; восклицание: «И нет существа, которое бы меня любило!» потрясает невольно. Он уснул, ставка распахнулась, в звуках отдаленной музыки являются тени и грозными порицаниями тревожат сон злодея-несчастливца. Как верится в бытие этого воздушного мира при звуках музыки! Какою жизнью веет оттуда! Но минута — и ставка запахла, и опять мука и скверные актеры — вот последние месяцы моей жизни! [...] Здесь я намерен лечиться, я уже поговорил несколько с Альфонским. Он полагает, что причиною моей болезни прилив крови к голове, геморрой — бог знает! Он говорит, что этому легко помочь — тоже бог знает! Я стал ни на что не похож, грустно смотреть на себя. Пусть пройдет болезнь, а мне все грустно будет смотреть на себя. Выслушай, друг мой, мои жалобы, с другими я буду мужем. Ты представить себе не можешь, как действует на меня дружеская шутка: «Экая рожа у тебя стала!» Я улыбаюсь очень весело, только ты бы заметил, что под этою улыбкою! Положим, это детство, я уже привыкаю, но обо многом можно сказать: это детство!

Убийственнее для меня мысль: болезнь похищает у тебя душевную энергию, ты ничего не сделаешь для людей. Природа, может быть, дала тебе средства стать если не выше толпы, то в передних рядах ее, болезнь забивает в середину!.. Да, я буду мужем, я притерплюсь к боли, но жаль, если я сделаюсь холодным стойком: я от себя этого не надеялся! Я трепещу при мысли, что энергия души моей погибнет невосвратно! [...] Твой Станкевич.

¹ «Истории тринадцати» (фр.).

² «Не прикасайся к секире» (фр.).

5 февраля 1835. Москва

Милый мой Генварь! [...] Не знаю, с чего начать тебе? Во-первых, я очень рад и мне досадно, что ты первый написал мне о Шуберте. Как мы слышали его в одно время! Я нашел эту пьесу нечаянно у нашего острогожского помещика Сафонова, в музыкальном журнале «Филомела», которого никто у них никогда не разыгрывал. Это было после обеда, после веселья, любезничанья. Я попробовал — и чуть не сошел с ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фантастическое, прекрасное чувство, которое охватывает душу, как сам лесной царь младенца, при чтении этой баллады. Уже начало переносит тебя в этот темный таинственный мир, мчит тебя *durch Nacht und Wind*¹. Душа моя, как я рад, что мы сошлись в этом. И как нарочно в одно время! Я переписал этот романс, теперь он у Бееровых. Другое — «Аббаддонна»! То же чувствовал, то же говорил я, читая этот роман. Как давно хотелось побывать опять в немецком царстве, посмотреть на шиллеровские лица, мечты — как пленяла меня Элеонора! Я видел ее во сне, влюблялся в нее. Конечно, характер не новый, пошлостей в романе много! Много прекрасных, но теперь уже общих, обыкновенных мыслей (много и неуместной болтовни!). Но когда человек говорит тебе общую мысль с жаром душевного убеждения — ты как будто вновь понимаешь ее. Мне «Аббаддонна» доставила много наслаждения! [...]

Белинский в своих «Литературных мечтаниях» (хорошая статья в «Молве»; Шевырев, говорят, хвалил ее, пока до него не дошло дело) сказал (хваля, впрочем, чрезвычайно Шевырева), что в стихах его развивается мысль, а не изливается чувство. Справедливое замечание! Шевырев, говорят, взбесился и кричит: как сметь так говорить? Это тон Полевого. Да разве он власть какая-нибудь, что об нем судить нельзя? [...] Прощай, душа моя!

¹ сквозь ночь и ветер (нем.).

Прости мне, милый друг мой Януарий, что так давно не пишу к тебе, но мы поквитались. Я эти дни был очень развлечен; каждый день собирался писать к тебе, даже имел потребность, но разные разности отвлекали. Во-первых, здесь были Бакунины — Любовь и Татьяна с отцом; Варвара замужем — следовательно, вся наша братия, как скоро только приезжали Бакунины к Бееровым (они останавливались у дяди), проводила время там. Весело прошли эти дни: бескорыстно любишься этими девушками, как прекрасными созданиями божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удерживать эти ангельские лица, чтоб глядеть на них, когда тяжело на душе... еще хочешь... не другого какого-нибудь чувства... хочешь уважения от них, чтоб они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей... Душа моя, ты согласишься, как это больно! [...]

Бакунины уехали. Последний вечер мы провели с ними в собрании очень весело. Если б ты знал тысячу разных ощущений, через которые мне случалось пройти в один день! Но это рассказывается только на словах. Сделай милость, только не подумай, что я влюбился: ей-богу, нет! Без надежды, без сильной надежды любви не может быть, по крайней мере для человека, который привык налагать узду на свои чувства и видеть настоящие отношения между людьми.

Мне приходила охота вести свой журнал; многие чувства мои могли бы быть поучительны для того, кто станет его перечитывать после меня, тем больше, что я отвык воплощать эти чувства постройнее, художнически, т. е. отвык от самой мысли; исполнение всегда было далеко от меня.

Но дружба всегда в праве требовать подвига; все эти эгоистические страдания извиняются и выслушиваются тогда, когда они составляют одну только часть жизни, когда другая часть посвящена труду честному, труду с целью.

Я занимаюсь историей и, чтоб отчетливее проходить ее, стал давать уроки братьям Белинского. Я к

ним готовлюсь очень обширно: прочел вавилонян и финикиян в «Идеях» Геерена, кое-что из «Древней истории» Лудена. Теперь начну «Историю евреев» Сальвадора. А как ученики мои еще не искусились в науках, то я отложил на несколько времени историю, чтобы дать им понятие о виде и разделении земли из географии; начал учить по Арсеньеву — какая глупая книга! А умнее нет у нас. Что б позаботиться вам о составлении курсов, только чтоб люди составляли, да не переменяли по три курса в год в уездных училищах, как это теперь делается. Ученики мои, впрочем, умные ребята. Я еще не утвержден, да и не хотел бы — хочется в архив, чтоб жить в Москве. Здоровье мое — туда-сюда. Беру уроки по-английски — выговор у меня недурен и, кажется, понемножку успею.

Мы издаем стихотворения Кольцова. Когда они выйдут, пожалуйста, напиши об них в «Сев[ерной] пчеле», что ты думаешь; а то наврет какой-нибудь неуч. Пиши беспристрастно, ты, верно, найдешь в них хорошее, а недостатков не скрывай, ты выразишь их так, как может высказать человек, уважающий чувство, в какой бы оно форме ни явилось... Друг твой Н. Станкевич. [...]

32. Я. М. Неверову

28 марта [1835. Москва]

Оканчиваю «Новика». Хотя он и поотстал от века, но все-таки занимательный роман и в нем много хорошего — выше Загоскина; по крайней мере, «Новик», не будучи так жив, как «Милославский», далеко выше его по характерам человеческим. У Загоскина — куклы, здесь — люди. Как хорош Паткуль и последние дни его! — Прочел одну повесть из Гоголева «Миргород» — это прелесть! («Старомодные помещики» — так, кажется, она названа). Прочти! Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни! [...] Друг твой Станкевич. [...]

22 апреля 1835. Москва

Милостивый государь, Михаил Александрович! Письмо Ваше от 16-го апреля я получил с Бееровыми: спешу благодарить Вас и отвечать, не думая о формах вступления и не стараясь натягивать мыслей на аршин приличий. По крайней мере, Вы не обвините меня в этом, когда я скажу, что письмо Ваше доставило мне большое удовольствие, обрадовало меня. Если Вы, приняв добрые, может быть, бессильные, желания за настоящие достоинства, цените сколько-нибудь мое знакомство, то поймете, как мне дорого Ваше. Кроме очень натурального желания сблизиться с человеком, которого образ мыслей вполне разделяешь, желания быть в своей сфере, слушать и говорить, что хочется — я имею причины считать подобные сближения долгом для себя. Они поддерживают мою деятельность, сохраняют во мне энергию. От этого я живу только в Москве, а в деревне прозябаю, несмотря на все прелести семейственной жизни, которые меня усладили за эти полгода до того, что я не могу об них вспомнить. Еще раз повторяю: я считаю для себя приятным долгом поддерживать знакомство с Вами.

Благодарю Вас за известие о людях, которые делают Вашу тверскую жизнь: заочно уважаю Шепелевского и прошу засвидетельствовать мое почтение, при случае, И. И. Лажечникову, с которым я имел удовольствие познакомиться в бытность его в Москве.

Желая иметь какое-нибудь право на получение от Вас еще одного письма, я не ограничусь ответом на первое, но скажу Вам несколько слов и о моей московской жизни. Она небогата событиями: со времени Вашего отъезда до сих пор я собирался привязать к какой-нибудь хорошей цели ежедневные странствования, предписанные мне доктором — но не привел в исполнение моих намерений за холодом, грязью, суетами. Святая неделя была мне потому только праздником, что я не мог ничего делать от скуки. Теперь снова принялся за обыкновенные свои занятия, пополнение того, что было упущено в университете, когда жизнь казалась широка, время недорого, все нипочем! Всякий находит у себя пропуски в

жизни... остается хоть с настоящего вести ее так, чтоб после не досадовать на себя. Впрочем, я бесподобно рассуждаю! И куда б хорошо, когда бы все делалось так, как думается и говорится.

Не стану описывать Вам, сколько планов, сколько предприятий рождается между нами, как эти планы горячо принимаются на несколько дней, как исчезают! Теперь, хотя не сильно, однако занимает нас еще попытка: Надеждин, отъезжая за границу, передает свой журнал одному из нас, а все мы беремся помогать ему. Но журнал этот так упал в общем мнении, что трудно посредством его сделать какое-нибудь добро — поэтому наше участие в нем довольно страдательно. Мы намерены сделать его чисто переводным, за исключением библиографии, которая требует у нас прямого человека, с образованием и добрыми намерениями: таков Белинский, которого Вы, кажется, у меня видели — он ею заведует. Попробуем обратить сначала на него внимание исправным выходом книжек. Но я наперед слишком многого не ожидаю и лениво работаю. Если ж посчастливится, — в час добрый!

Благодарю Вас за приглашение в Тверь: душевно желаю, чтобы когда-нибудь мог им воспользоваться. Красов и Ефремов кланяются Вам. Первый едет в деревню к Ладыженским, а последний будет недалеко от Твери, у своих родственников и, верно, навестит Вас. Они оба и я просим Вас засвидетельствовать почтение наше Александру Михайловичу и поблагодарить его за память об нас: мы бы желали заслужить его расположение. Прошу Вас также засвидетельствовать наше почтение Варваре Александровне и сестрицам.

Прося Вас изредка уведомлять меня о себе, сколько позволяют Ваши занятия, с истинным уважением остаюсь Ваш покорный слуга Николай Станкевич.

34. Я. М. Неверову

22—23 апреля [1835. Москва]

22 апреля

[...] Каратыгин здесь! Душа моя, сердись не сердись, а он стал вдвое хуже прежнего: гримасничает, делает фарсы, ревет, но все-таки он с ред-

ким талантом. Я хочу писать об нем в «Телескопе».

А пропос — Надеждин, отъезжая за границу, отдает нам «Телескоп»; постараясь из него сделать полезный журнал, хотя для иногородних. По крайней мере будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Шевырева! Как он мелочен стал! Мельгунов умнее их всех и, возьми перевес в их журнале, исправил бы его. Я теперь читаю французские журналы и то — спасибо. [...]

23 апреля

Вчера пришел очень поздно и потому не писал к тебе. «Роберт», не знаю почему, не слишком мне нравится. Музыка первых двух актов не производит на меня действия; но в последних трех она мне нравится — я еще не хорошо расслушал ее. Кажется только, что Мейербер ужасно заботится об эффектах. Ты помнишь невидимый хор, поющий с Бертрамом? Мелодия прелесть как хороша! А звенящий аккомпанемент? Он на меня сильно действует — здесь столько уныния, столько фантастического, хотя, может быть, иной назвал бы это фарсом! Но нет, отчего же это фарс? Я бы, кажется, иначе не хотел выразить весь ужас и всю печаль этого положения. Но беспрестанные аккомпанеманы тромбонов, фаготов — это немножко натянуто. Но все-таки это мне нравится. Помоему, один из главных недостатков оперы — длинота ее: опера должна быть коротка; я всегда твердил, что первое действие оперы и начало всякого концерта на меня действуют удивительно, но что потом чувство у меня притупляется, и я зеваю, хочу спать. Мне, а может быть, еще более тем, которые слышали это от меня, казалось такое явление следствием антимузыкального чувства. Но как же я рад был, когда отыскал то же самое у Гофмана в его «Musikfeind»¹. И на него так же действовала музыка, особенно концертная.

Очерк еврейской истории получил (разумеется, в голове моей) более обширный размер и составит в тиши деревенской жизни. Ржевский предложил составить древнюю историю из древних писателей, взяв

¹ «Враг музыки» (нем.).

по народу на каждого из нас. Это бы хорошо! Тогда мы избавили бы многих от необходимости рыться в древних, между тем как средние века представляют задачу более сложную, трудную и близкую к нам. А оторвать это введение судьбы к жизни человечества значит — уничтожить одно из данных, которые могут дать огромные результаты. Но — до следующего письма, которое будет, вероятно, очень скоро. [...] Друг Н. Станкевич.

35. Я. М. Неверову

1 июня 1835. Москва

Милый друг мой Януарий! Давно уж не писал к тебе! [...]

Надеждин передает свой «Телескоп» Белинскому; с № 7 он поступит в его распоряжение, а мы поне-многу все станем ему помогать. За это берутся и еще некоторые почтенные особы. Но об этом, пожалуйста, секрет. В «Наблюдателе» пишут много глупостей, хотя направление его и честно. Шевырев обманул наши ожидания: он педант. Разумеется, что не стану тратить времени на «Телескоп», но каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые могу заняться для него; кроме того мы всегда будем обществом совещаться о журнале. [...] Друг твой Н. Станкевич.

36. М. А. Бакунину

7 июня 1835. Москва

[...] В «Телескопе» я принимаю более душевное, нежели действительное участие. Отношения мои с Белинским такого рода, что я все его труды, какие бы они ни были, стану разделять больше или меньше. Я не способен к журнальному мастерству и имею много своих занятий: мне нужно еще приобрести такие сведения, каких стыдно не иметь, и поэтому я охотно отлагаю мою поездку за границу, где я в езде потратил бы два, три драгоценные года, одни, в которые можно еще узнать что-нибудь. Там начинается

деятельность, там начинается знание другого рода. Папенька предлагает мне путешествие по России, и я охотно принимаю его предложение. Думаю, что зиму я проживу в Москве. А на весну отправлюсь в Крым. Надеюсь, почтеннейший Михаил Александрович, что Вы хоть изредка будете сообщать мне известия о себе: Вы этим меня одолжите [...]

Красов уезжает сегодня и свидетельствует Вам почтение, Ефремов будет верно у Вас в начале июля; Белинский, он тоже свидетельствует Вам почтение — тоже он рад, что статьи его внушили Вам доброе об нем мнение [...]

37. Я. М. Неверову

14 июня 1835. [Москва]

Милый друг мой Януарий!..

В «Телескопе» я принимаю не самое деятельное участие, а твой Строев врет, что Надеждин его продал нам. Напротив, он платит деньги Белинскому за издание, а мы будем Белинскому понемногу помогать; у меня, впрочем, много и своих занятий. Строев наконец развил свои способности в Петербурге: изо всей своей братии он один был честный, хотя и несовестливый и не слишком умный малый. Теперь выходки его против Погодина неблагородны. Прекрасно вывести на чистую воду ошибки ученого, но что ты скажешь об этом: Бодянский стал замечать Строеву его ошибки, а этот отвечает, что это ловушка на Мишку... как благородно! Если он сделал ошибки без намерения и не хочет сознаться в них,— это бессовестно, если он в самом деле затеял ловушку,—какая подлая уловка! И этот человек говорит, что критики Белинского пахнут кабаком! — Я не одобряю слишком полемического тона у Белинского, но это душа добрая, энергическая, ум светлый, за которым Строеву не угоняться. Но бог с ними, с этими полемиками! [...]

Твой Станкевич. [...]

38. В. Г. Белинскому

31 июля 1835. Острогжск

[...] Душевно жалею, что тебе позволили издавать «Телескоп»: одна «Молва» завалит тебя делом. Я писал к тебе в дом Чудиной, и письмо мое, верно, тебя не застало там. Оно содержало в себе строжайший выговор за распоряжение о Кольцове и поручение вырезать позорную страницу. Нельзя ли исполнить этого хоть теперь. [...] Прощай! Будь здоров и трудись в ожидании твоего Станкевича.

39. Я. М. Неверову

13 октября 1835. Москва

Милый друг мой Генварь! [...] Как понимаю я твоё сетование на пустоту души... Тяжело не иметь ни одной отрадной мечты за душою; по крайней мере, в таком положении хотелось бы сознать, что ты живешь не напрасно, что ты совершишь подвиг... Года через два и я надеюсь быть за границею, а пока поработаем. О моих занятиях и планах поговорим при свидании, тогда я, может быть, больше буду иметь права фантазировать о будущем, более довольный собою в настоящем, а до сих пор совестно и страшно подумывать, как я мало сделал!

Я не чужд энергии, но часто теряю центр в моих занятиях и не знаю куда иду: всякая вдохновляющая мысль покидает меня, и я брожу несколько дней в апатии, не зная, к чему устремиться. Теперь я, кажется, лучше понимаю и себя, и людей, и знания. Но еще одна светлая мысль или безотрадное убеждение, и я пойду тверже, решительнее по избранному мною пути.

Ну, друг, не знаю, что тебе дался Тимофеев? В «Северной пчеле» выписаны две его песни как образец красоты, и эти две песни достойны Тредьяковского; эти две песни — пошлые мысли, выраженные варварским языком. После этого можно усумниться даже, что он умен. Как тебе нравятся №№ 7 и 8 «Телескопа», изданные Белинским? Заметь в последнем прекрасную статью: «Лютер на Вормском

сейме». 9-й готовится. В нем осмелились пошутить над Шевыревым, который с важностью говорит о реформе в русской просодии и хочет ввести итальянскую! Не говоря уже о нелепости этой мысли, подумай, как не стыдно в наш век, богатый человеческими интересами, думать о переменах в просодии? Талант сам создаст ее. [...] Твой Станкевич. [...]

40. К. А. Бееру

26 октября 1835. Торжок

Милый Костинька! Совсем неожиданно я побывал в Премухине. Подробности этого случая я могу рассказать при свидании. Теперь скажу только о следствиях. За это время я очень подружился с Мишелем и решил делить с ним мои занятия, потому что мы выбрали с ним одну дорогу. Целые дни просиживали мы с ним наверху, с трубками в зубах и горячими планами на будущее. Алексей всегда почти разделял нашу беседу, мы с ним вспоминали прошедшую университетскую жизнь, и я никак не мог представить его уланом. Казалось, мы все еще студенты: вчера были у Ивашковского, сегодня пойдем к Снегиреву. Теперь я увидел, что значит университетское товарищество!

Между тем Ефремов своею любезностию увеселял дамское общество, среди которого мы являлись иногда тоже для хора или для какой-нибудь игры. Все беспрестанно вспоминают вас, обрадовались вашим письмам и делают вам те же упреки, какие вы делали им. Послезавтра я буду в Москве и стану отыскивать вам квартиру в нашей стороне, в Старой Конюшенной (я живу в приходе Пятницы Божедомской, в доме Лаптевой). [...] Твой Станкевич.

41. Я. М. Неверову

26 октября 1835. Торжок

Друг Январь! Вот я на возвратном пути из Премухина. Мы едем вместе с Бакуниным в Тверь, где я пробуду у них еще один день и потом возвращусь в Москву. Ефремов с нами. Я подружился с Мишелем:

чистая и благородная душа! Зная нашу дружбу, он хочет с тобою поближе познакомиться и идет к тебе. Может быть, в январе мы вместе с ним приедем в Петербург. [...] Я составил планы, которые сообщу тебе при свидании; надеюсь, ты будешь в них участвовать, а до тех пор трудись и пиши к твоему другу. Я дам тебе отчет в занятиях, чувствах... Я очень рад, что Мишель выбрал одни занятия со мною: мы будем переписываться друг с другом очень серьезно насчет этих занятий. Прощай пока! [...] Твой Станкевич. [...]

42. М. А. Бакунину

4 ноября 1835. Москва

Любезный друг! Сегодня получил я письмо твое от 1-го ноября; оно застало меня в сухих исследованиях времени и пространства, которые, верно, досаждают тебе в эту минуту — я обрадовался, чуть было не разорвал письма вместе с конвертом, и жадно прочел твои логические выходки против жизни! Мой друг! ты чересчур последователен, но в твоих силлогизмах всегда неверна первая посылка. С чего ты взял, что жизнь чувства предполагает жизнь между людей и покорность их условиям? Нет — чтобы жить чувством, надобно жить между людей избранных и мало подчиняющих себя мелочным отношениям. Будто же это для тебя невозможно? Ты молод, друг, ты ничего не терял безвозвратно и должен смотреть веселее на жизнь. Кому ничего не осталось, тот в безнадежности своей должен искать силы на подвиг, а тебе к чему она послужит? [...]

Хуже всего эти глухие, ничтожные надежды, похожие на надежду чахоточного, которому осталось жить два часа! Они унижают человеческое достоинство, тем более, что сам видишь их несбыточность и, по непостижимой слабости, все-таки им предаешься. Эти надежды я стараюсь убить, но... они воскресают в другом виде, как мечты: всякий пустяк смутит, напоминает, собьет с толку и на серых страницах критики чистого разума нарисует такие очаровательные картины!.. я не стыжусь говорить тебе о своих слабостях; откровенность такого рода сблизила нас, она и укрепит нашу дружбу (вместо привычки!).

Я высказываю тебе все разом, чтоб не скучать моею хандрю в следующих письмах. Поверишь ли? я не могу видеть ровно никого из самых близких людей, кроме Красова, который живет со мною и делит мою жизнь; я могу быть еще с Ключниковым и Белинским. Но всякий раз, как разговор начинается о чем-нибудь чуждом моим планам и моим занятиям, становится душно и скучно. Сегодня целое утро, до 4-х часов, я сидел за Кантом, а теперь взял читать Шекспирова «Юлия Цезаря» в переводе Шлегеля. Я один, в другой комнате Красов, и на душе легче.

Как мне отрадно было читать, что ты тоже убежал и сидишь у себя внизу. Воображаю твою уютную комнатку, стол, сделанный по моему плану, Канта, табачный дым, твою красненькую рожицу в задумчивости... и тебя мучат те же мечты, ласкают те же бескорыстные надежды на подвиг! Друг мой! мне кажется, я тебя хорошо узнал. Ты создай для доброго дела, ты так легко понимаешь вещи, так веруешь в достоинство человека, что не должен сомневаться в своем назначении! Всякая другая жизнь измучила бы тебя! Не отказывайся от людей, но ограничь свое знакомство; отдыхай почаще в семействе, делись с ним душою и не изнурай себя лишними трудами. Силы твои будут еще нужны. [...] Твой Станкевич. [...]

43. Я. М. Неверову

4 ноября 1835. Москва

Друг мой Генвары! Приехавши в Москву, я получил письмо твое от Шидловского и отправил его к Мишелю Бакунину, чтобы он показал его Лажечникову. Ты можешь себе представить, как это будет ему приятно. Я познакомился с ним еще в Москве, потом был у него в Твери. Человек не молодой, за 40, седой еще с молода, приятной наружности, небольшого роста, тихий, добрый, умный, но какой-то нерешительный в мнениях. Последнее понятно: начав жить в 18 веке и упитанный его началами, он подался однако за молодостью, хоть совершенно сравняться с нею ему было трудно. Но он все-таки приобрел лучшие достоинства XIX века и должен любить его за то, что он

венчает его седую голову. В его романах я не вижу решительного таланта, но умный, серьезный взгляд на вещи, чувство истинное и благородное, любовь к России и правде. Он затевает еще два романа: «Колдун на Сухаревой башне», в котором главное лицо Брюс, а другой из времен Иоанна III. Герой его немецкий лекарь, казненный за то, что не вылечил татарского князя, героиня — русская девушка, которая любит этого немца по-своему; здесь же будет и Аристотель Болонский. Лица преинтересные, но наши летописи не дадут ему никакого понятия о их характере, а создавать он не мастер. Впрочем, он все-таки лучший романист после Гоголя, которому равного я не знаю между французами. Это истинная поэзия действительной жизни. [...] Твой друг Станкевич. [...]

44. К. А. Бееру

6 ноября 1835. Москва

Последнее письмо твое, милый Костинька, я получил тотчас по приезде из Твери. [...] Я писал к вам из Торжка в письме Алексея. Думаю, вы его получили. Мишель с такою добротою и деликатностию просил нас на семейный праздник (18-го), что не поехать было бы невежливо. Кроме того, мне давно хотелось взглянуть на семейство Бакуниных в Премухине... Я нашел в Мишеле такого человека, который может быть другом. Столько ума, чувства и чести!

Ефремов своею любезностию вполне вознаградил недостаток моей и дал мне время наговориться и подружиться с Мишелем.

Алексею я был ужасно рад. Мы помянули университетскую жизнь. Он все такой же молодец, каким и был — но в нем прибавилось много добрых качеств: их вызвала, может быть, жизнь между людьми, с которыми он ничего не имеет общего; это уединение особенного рода, которое часто возвышает душу, если только она не поддается убийственному влиянию пустых людей.

45. М. А. Бакунину

8 ноября 1835. [Москва]

Я и забыл тебя поздравить: ты, верно, сегодня именинник. Чего тебе желать, друг мой! Ты знаешь все, чего я тебе желаю. Если ты веришь, что искренние желания действительны, надейся всего! Впрочем, счастья ты, верно, захочешь под одним условием, чтоб оно не мешало тебе быть человеком. Для этой цели Провидение одному дает толчки, другого ласкает. Впрочем, я уверен, что иной человек в жизни своей ведется к тому, чтоб быть негодным — от этого может быть своя польза в общей гармонии миров. Только твердая воля может сделать отпор разным обстоятельствам, увлекающим человека, — итак, желаю тебе, во-первых, воли, а потом гармонии, о которой мы говорили с тобою.

«Der goldene Topf»¹ — может быть, не всем понравится, хоть по мне он очень хорош, но «Ritter Gluck»² — это прелесть! Прочти также «Музыкальные страдания Крейсlera» — сколько здесь огня, истины! Я перечитывал это с удовольствием. Я думаю, ты поймешь хорошо фантастическое Гофмана — это не какая-нибудь уродливость, не фарсы, не странности, которыми Бальзак хотел сначала обратить на себя внимание. Его фантастическое естественно — оно кажется каким-то давнишним сном. А там, где он говорит о музыке, об искусстве вообще — не оторвешься от него! Когда увидишь Алексея — кланяйся ему, также Вертелю.

Пиши мне вместо дома Лаптевой дом княгини Горчаковой; на воротах билетик с ее именем, скорее будут приносить.

46. Я. М. Неверову

10 ноября [1835]. Москва

Друг Януарий! [...] Бенедиктова я читал и не соглашусь с тобою. Он не поэт или пока заглушает в себе поэзию. Из всех его стихотворений мне нравят-

¹ «Золотой горшок» (нем.).

² «Кавалер Глюк» (нем.).

ся два: «Полярная звезда» и «Два видения». Во всех других одни блески, мишура. Увлекая тремя, четырьмя счастливыми стихами, он вдруг холодит тебя каким-нибудь вычурным словом, которое он считает за прелесть! Что ни стих, то фигура, ходули беспрестанные. Чувство выражается просто: ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он — поэт. Бенедиктов блесит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных — души нет! [...] Друг твой Станкевич. [...]

47. М. А. Бакунину

15 ноября 1835. Москва

Вечер. Друг Мишель! Часа три тому назад я получил письмо твое. Со мною сидел Ржевский, который недавно приехал в Москву и остановился у меня; потому я и не успел отвечать тебе в ту же минуту, вопреки моему обычаю. В первую минуту скорее и легче высказывается все, что есть на сердце, но эти три часа не уничтожили того расположения, в котором застало меня письмо твое и которому оно придало какую-то гармонию. Благодарю тебя, друг мой, и прошу писать почаще. Как ты ни молод, но у тебя часто бывают грустные мысли; отдавай же половину мне — нам обоим будет легче. Януарий скоро понял тебя и вы с ним подружитесь, я уверен. Жаль, что небольшое общество наше, несмотря на все свои благие намерения, страдает одним неисцелимым недугом — тоскою и недоверчивостью к жизни, не то — мы бы сделали больше!

Поздравляю тебя с позволением выйти в отставку: спеши скинуть твои эполеты, которыми ты немножко пугал меня сначала! Что ни готовит будущность, в этом случае она будет, верно, лучше прошедшего. Признаюсь тебе: потребность гражданской деятельности начинает сильно тревожить меня. По новому уставу открывается столько мест, на которых я мог бы быть полезным, служа под начальством такого человека, как Строганов, но я остаюсь верным своему

прежнему плану и хочу решить прежде многие вопросы, которые столько же меня тревожат. Мое расстроенное здоровье, которое страдает от всякого сильного напряжения, мешает мне вполне предаться моим занятиям, и я боюсь, что конец этого месяца ничего не скажет мне верного. Моя головная боль чаще возвращается, и я худо сплю, сухие формулы, непонятные днем, оставленные с досадою, представляются мне в бреду и, при малейшей тяжести в голове, я буду бросать Канта к черту, иначе — расстрою себя навсегда. Завтра поговорю об этом с Дядьковским. Всего досаднее, что меня останавливает не глубина идей, а сбивчивость многих терминов и недостаток сведений психологических, которые предполагает «Критика чистого разума». Вчера купил я курс философии Круга (в 2-х частях) и прочел много из первого тома. Здесь все очень ясно: он отчасти кантианист. Но того, что мне осталось темным в Канте, он мне не объяснит. Во всяком случае, Круг очень полезен и может бросить свет на дальнейшие исследования в «Критике чистого разума». Я еще прочту что нужно и надеюсь прислать его тебе, ибо дальше категорий ты, верно, не скоро пойдешь. Я остановился над трансцендентальным их выводом. На твои мысли о введении буду отвечать завтра; систему Канта, как мог, я изложил в прежнем письме. Ты видишь, что он остановил только бесплодные попытки ума и указал ему настоящую дорогу. Шеллинг основался не на врожденных идеях, а на чистом самосознании, я-я, которое отыскал сам Кант. Новая философия не в противоречии с ним. Он ее основатель. Но не оставляй, ради бога, истории. Без нее знание будет слишком сухо и мертво. С единством идей надобно соединить разнообразие фактов — вот идеал знания; тогда оно и будет поэзиею.

48. М. А. Бакунину

24 ноября 1835. [Москва]

[...] Друг Мишель! Вчера и сегодня я получил от тебя по письму. [...] Я не думаю, что философия окончательно может решить все наши важнейшие

вопросы, но она приближает к их решению, она зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслию. Философия не должна быть исключительным занятием, но основным. Занимайся равно и историею и латинским языком, не отдавайся пустым формам, но верь в могущество ума, одушевленного добрым чувством. [...] Твой Станкевич. [...]

49. Я. М. Неверову

2 декабря 1835. Москва

Друг мой Януарий! Я получил твое письмо и экземпляр Канта, другого и не надобно. [...] Ты говоришь, что я всегда ошибался в призвании. Иногда. Это участь всех. Но философию я не считаю моим призванием; она, может быть, ступень, через которую я перейду к другим занятиям, но прежде всего я должен удовлетворить этой потребности. И не столько манит меня решение вопросов, которые более или менее решает вера, сколько самый метод как выражение последних успехов ума. Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь, хотел бы убедить потом других и пробудить в них высшие интересы. [...] Друг твой Н. Станкевич. [...]

50. Я. М. Неверову

8 декабря 1835. Москва

Друг Генвэрь! [...] Читал ли ты «Musikfeind» Гофмана? Это превосходное произведение. Не читавши его, я думал, что я варвар в музыке, но когда прочел, то убедился, что более, нежели многие из знатоков, способен чувствовать ту, по крайней мере, которая мне доступна при моем немзыкальном образовании. Этот Musikfeind жил в доме какого-то славного музыканта внизу; наверху часто играли квартеты, квин-

теты, секстеты и пр., которые выполнялись лучшими музыкантами. Когда раздавался первый удар смычка, враг музыки отворял свое окно и, не смея дышать, принимал каждый звук в открытую душу, чудные фантазии рождались в нем, все прежние чувства воскресали в нем и волновали его — первая пьеса кончалась, и душа его истощала все свои силы. Начинался второй номер — он производил на него неприятное впечатление. Между тем, эти господа откозыривали по 5 и по 6 пьес в один вечер. При третьей пьесе Musikfeind бежал обыкновенно из дому, и музыканты показывали на него со смехом и говорили: «Посмотрите — вон любитель бежит по улице!» [...] Прощай! Надобно приниматься за дело. [...] Твой Станкевич.

51. М. А. Бакунину

15 декабря 1835. Москва

Друг Мишель! Сию минуту я получил письмо твое, которого уж не думал получить в Москве. Я знал, что ты ездил к Сологубу — но не знал, воротился ли, давно ли воротился и что подумать о твоём молчании? Наконец, я получил твое письмо и душевно рад этому! — Оно застало меня на мази, как говорится. Сегодня в обед я выезжаю в благословенный город Острогжск. Может быть, ни разу еще с первого года в университете не ехал я туда с таким удовольствием. Мне так нужно отдохнуть в семействе, предаться вполне самому себе, быть тем, чем мне хочется быть, веселиться, дурачиться и не бояться за неосторожное слово, которое может быть перетолковано. Жить с ними надоест, но пробыть там две, три недели — это наслаждение! Исполать тебе, Мишинька! Ты опередил меня! Я давно уж не читаю Канта, потому что, по приезде, намерен поговорить об нем подробно с некоторыми людьми, которых мне здесь рекомендовали. На каждое его положение у меня тысяча возражений в запасе; я думал об нем столько, что голову ломило — но посредством своего мышления не доходил до его результатов и заключил, что я дурно понимаю мысль его или нелогически мыслю. В том и другом случае мне нужна чужая помощь. Между

тем ты меня подзадорил. Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него. Неверов давно мне проповедывал такие вещи, и я его никогда не слушал; есть потребности, незаглушаемые в душе человека, и нет нелепее предрассудка, как тот, что человек не без чувства не может успехом заниматься философией. Напротив, до тех пор она и делала мало успеха, пока ею занимались скопцы, с сухим умом, с холодною душою. А Кант нужен как введение к новым системам. Зачем прямо хвататься за них? Шеллинг и так уже составил часть моей жизни; никакая мировая мысль не приходит мне иначе в голову, как в связи с его системою. Надобно только хорошенько узнать основания, чтоб успокоить одну из главных сил души, ум, и языком этой силы высказать истину всякому, кто хочет в ней убедиться. Тогда можно пробудить благородное чувство, в одних — путем отвлечения, в других — путем поэзии, которою облечена философия в целости, но все-таки она единственное средство в наше время воззвать человека к религии и самоотвержению. [...] Твой Станкевич,

52. М. А. Бакунину

7 января 1836. Острогжск

Любезный друг Мишель! На Новый год я отправил тебе самое коротенькое письмо с известием о моих дурачествах. С тех пор я вел себя не лучше и не надеюсь исправиться раньше, как по возвращении в Москву. Поэтому не ожидай от меня серьезного отчета в занятиях или каких-нибудь новых планов, новых фантазий, плодов жизни деятельной или созерцательной. Я оставил, напротив, один из старых планов: ехать в Петербург. Это для меня решительно невозможно. Мне так дорога каждая минута: я так много погубил времени в деревне!.. А между тем здесь мы продолжаем дурачиться; вчера танцевали мы у Томилиных: тебе они известны по описаниям. Это был превеселый вечер. Один сумасшедший, притча нашего уезда, уверенный, что ни одна девушка в свете не может устоять против его прелестей, до-

ставлял большое удовольствие почтенной публике. Беер его, кажется, знает: это Иван Хабаров. Над ним с неизъяснимою тонкостью подшучивал отставной пехотный полковник и, еще остроумнее, один кандидат Харьковского университета. Все это в Острогжске, под нашу музыку, в кругу наших барышень, слилось в такую упоительную гармонию, так освежало мои нервы, что я с душевным наслаждением побывал бы еще на одном таком вечере. Хозяин такой добрый — нечто вроде Афанасия Ивановича, хозяйки — такие милые — одна из них, М. И., настоящая Пульхерия Ивановна; барышни — такие хорошие, добрые, на пору — умненькие, на пору — и так и сяк. Право, не скучно! Но я хотел бы быть Гоголем вчера: он схватил бы всю фламандскую прелесть бала и передал бы ее тебе, не искажая хорошего — потому что хорошее есть и в Острогжске. [...]

Не имейте дурного понятия об Острогжске — здесь чувства и дела и мнения совсем не то, что в Миргороде. Правда, у нас есть Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, зато они засмеют в глаза всякого, кто скажет им, что турецкий султан заставляет нас принять свою веру, что доказывает их сведения в современной политике и здравый ум. Они ссорятся, но не тягаются — что доказывает их доброе сердце. Они не лежат под навесом, а пускаются в коммерческие обороты, курят вино и ставят свиней на барду, что доказывает их способность к практической деятельности. Вот вам ум, воля и чувство. А штатный смотритель уездного училища, мой сотрудник по службе (который по советам одного почтенного человека чистит ногти по четвергам, чтобы избавиться от зубной боли), получает журнал министерства просвещения, где я прочел прекрасную статью Кронеберга об изучении словесности. Прощай. Твой Станкевич.

Впрочем, я написал здесь о возможности философии как науки и перевел довольно большую 3-ю статью о философии Гегеля. 13-го в Москву. Туда и отвечай мне.

15 февраля 1836. Москва

Любезный друг Генварь! Я получил от тебя уже два письма и ни на одно не отвечал. [...]

Я тоскую. Мне хочется подальше. Беспредельные усилия над собою, беспредельные сомнения в себе, занятия, которых цель еще далека — все это бременем ложится на душу. Кавказ представляется мне в каком-то очаровательном свете. Доктор говорит, что он возродит мой организм, а я тайно надеюсь, что он возродит и душу. Мы чудно созданы. Действительность беспрестанно дает нам знать, что она действительность, а мы все ждем чудес... я стыдился этого направления, я думал, что это следствие нашей неестественной жизни, убитого организма и убитой души... но люди молодые, свежие, в которых поселилась искра божия, страдают тем же недугом. М. Бакунин говорит мне, что каждый раз, когда он возвращается откуда-нибудь домой, ждет у себя чего-нибудь необыкновенного... как неистребимо это суеверное упование на судьбу, которая холодно и неумолимо разрушает лучшие мечты наши! И каждый удар ее невольно стараешься объяснить какою-нибудь благою целью, и я думаю, так будем делать до самой смерти. И, может быть, в самом деле ведет она, но ее руководством пользуются те, которые переживают нас; ее забота в том, чтоб мы не вырывались из звеньев этой цепи, которую кует она от первого человека, — и это еще лучшая участь быть ее орудием, и за это еще должны мы благодарить бога! Впрочем, в экономии природы всякая дрянь есть необходимость, и если мы будем дрянь, то она и этим воспользуется, точно как пользуется нашим счастьем, страданием, нравственностью и безнравственностью. Беречь свое достоинство — вот наша задача... Ну, давай же его беречь!

Благодарю тебя за знакомство с Т. Н. Грановским. Это милый, добрый молодой человек, и на нем нет печати Петербурга. Он рассказывал нам про нашего Строева. Я ожидал этого от него! Холодный человек не может быть хорошим! В нашем обществе он был, по крайней мере, хорошим товарищем; в Пе-

тербурге, не имея ни добрых правил, ни добрых чувств, чем стал бы он руководиться? Холодный человек должен быть стоик — иначе он будет подлец! [...] Твой Станкевич.

К Бакунину пиши в Москву на мое имя.

54. В. Г. Белинскому

30 мая 1836. Пятигорск

Любезный Виссарион! [...]

Что делается в Москве? Брат писал мне, что ты последнюю статью о «Московском наблюдателе» решительно убил Степана Петровича и что он сам от себя отрекается... в час добрый! Но вспомни, что Погодин всех нас называет «рецензентами» и ждет, чтобы мы сами что-нибудь сделали — начинай же что-нибудь делать. Пошла ли в ход твоя грамматика? Был ли ты у Строганова? учишься ли по-немецки? Напиши мне, пожалуйста, об этом.

Ваничка обещал мне прислать «Ревизора». «Современника» я не видал — меня интересуют пуще всего статьи Гоголя. [...] Пиши ко мне. Твой Станкевич.

55. Т. Н. Грановскому

14 июня 1836. Пятигорск

Любезный Тимофей Николаевич! Сегодня получил письмо Неверова от 9-го мая, пришедшее из нашей деревни, и на нем твою приписку. Ты в Берлине! Ты достиг цели твоего странствия! Я воображаю, как сжалось твое сердце, когда ты увидел этот немецкий город, на который каждый из нас возложил свою надежду! Или у тебя их еще много? Или это только одна из надежд твоих? В таком случае разочарование будет не так тяжело, заветная радуга все еще будет тебе гореть на небе... Надеюсь, ты сдержишь свое обещание и напишешь мне о всех чудаках, от которых мы ждем себе душевного возрождения. Признаюсь тебе, мне давно стало душно от этой проклятой неизвестности, от этого откладывания; когда женибудь надобно последовать внутреннему голосу и жить

своею жизнью! Когда же нибудь надобно отбросить эту робкую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицом к лицу с этими оболыстителями души, которые тайною, странною надеждою поддерживают жизнь ее, и потребовать от них вразумительного ответа. Воля твоя! Я не понимаю натуралиста, который считает ноги у козавок, и историка, который, начав с Ромула, в целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия, не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их и отдается в волю своего темного поэтического чувства. Если нельзя ничего знать, стоит работать до кровавого пота, чтоб узнать хоть это! Тогда, в моем отчаянии, в моем ропоте будет больше счастья, больше поэзии, по крайней мере, нежели в этом робком отказе от своего достоинства, от своих потребностей, сил! Тогда, может быть, я лучше пойму смирение веры, тогда я, может быть, без удержания отдамся душе своей, в которой есть же капля любви, и стану жить в одном чувстве, ничем не раздробляемом. Нет! человек может знать, что хочет, по крайней мере, может устроить хаос своих познаний и быть в единстве с самим собою, одушевить науку одною светлою идеею — и этого мы вправе ждать и требовать от тебя, милый Грановский, которым не овладел демон мира сего и который бескорыстно готовит себя на служение мысли. Подружись с этими чудаками немцами: ты встретишь между ними чугунные головы, дурацкое терпение и дурацкое благоразумие, но и встретишь людей, отвративших глаза от мелочей этой жизни и дышащих воздухом другого мира. [...] У них есть идеи, которым душа отвечает, да и если в них усомнишься, то оттого, что, может быть, еще не совсем верна метода, которою они доказываются. [...]

Прочь интересы бедных голов — что за нужда, в котором году ни умер Александр Македонский; довольно, что он жил и переродил вселенную — а если это знать, так знать для того, чтобы понять, что такое вселенная! Интерес всех наук — один; посторонние интересы могут быть искренни и бескорыстны, но они суть следствие привычки, а не жажда души, которая во всем ищет себя и своего единства с жизнью природы и бога, которая во всем хочет поэзии, упоения, без которого нет жизни и существенности, без кото-

рого вселенная скелет или призрак! Мужество, твердость. Грановский! не бойся этих формул, этих костей, которые облекутся плотию и возродятся духом по глаголу божью, по глаголу души твоей. Твой предмет — жизнь человечества, ищи же в этом человечестве образа божия, но прежде приготовься трудными испытаниями — займись философией! Занимайся тем и другим — эти переходы из отвлеченностей к конкретной жизни и снова углубление в себя — наслаждение! Тысячу раз бросишь ты книги, тысячу раз отчаешься и снова исполнишься надежды, но верь, верь! и иди путем своим!

Ты мне простишь эти советы. Это — не советы, это — голос души, которая понимает твою и невольно стремится слить ее с собою, которая дорожит всяким прекрасным явлением, всяким чистым сердцем и крепко за него держится. Ты сам одобрял мои занятия, ты сам подал нам руку и мы прочли в душе твоей, что ты наш — «будем верны мечтам юности» — она цвет жизни и ее любил Спаситель в лице ученика своего, она легче понимает любовь его и смелее презирает фари́сеев!

Я — на Кавказе. Этот край грустен своим однообразием, но его горы порою производят странное впечатление на душу. Чудно манят ее иногда эти снежные, спокойные вершины Эльбруса и беспорядочные, кучами набросанные, снежные утесы других гор. Все это в 100 или более верстах и бывает видно ясными утрами, ясными вечерами. Здоровье мое поправляется. К 1-му августа поеду домой, а к 1-му мая 1837 с моим милым Януарием явлюсь к тебе — он мне будет отчиною в чужой земле. Прощай! Вперед напишу больше и больше положительного — теперь это я должен был высказать тебе, не мог не высказать, Христос с тобою! Твой Станкевич.

56. В. Г. Белинскому

11 августа 1836. Удеревка

Сиверион Григорьевич, ангел ты мой! Ты на меня серчаешь за то, что я не писал к тебе: как быть! Одолели болести — вот и теперь пишу только не-

сколько строк. Грудь стеснилась от странствий горных, хоть остальное здоровье и поправилось.

Ты, верно, не получил письма моего из Пятигорска — иначе, наверное бы, отвечал. Каковы твои дела? Я перебираю «Телескоп» и ищу твоей беседы... вот, вот он — кулак, все сокрушающий! На этот раз он гвоздит пресловутого Кони... «Вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три». Славно — но в 10 № нет имени Виссариона! Зато есть таинственное — кс —. Я еще не читавши, по какому-то инстинкту, подумал, что здесь выпущены буквы А, а, к, о, в, ъ. Начал читать и удостоверился, что это есть произведение зевающего энтузиаста. Но, господи! Ей-богу, надобно с ним быть поделикатнее... Не то чтоб мы убили его или сделали живописцем... но такая недоверчивость немножко ожесточает человека, — по крайней мере, вовсе не полезна ему..., а в нем есть многие стороны, стоящие уважения, и он малый умный! Спроси у него: эта Цецилия с черными глазами не есть ли девица Д...? — только, а впрочем, ничего не говори из моего письма.

Вы видите призрак жизни в «Наблюдателе»? Увы! — к несчастью призраки. Самые выходки Надеждина, как они ни справедливы, так неточны, так неискренни, так чужды жизни и, по большей части, важности, что грустно смотреть! Впрочем, «Телескоп» довольно интересен; по крайней мере, несравненно интереснее «Наблюдателя», тем более, что в нем изредка пробивается душа и истина под подлою маскою В. Б. Кто писал о «Ревизоре»? Очень умно. Только странная конструкция и прилагательные после существительных заставляют меня подозревать, что это Селивановский... В литературных прибавлениях приписана тебе повесть. Я не читал ее, но уверяю всех, что не твоя; она многим нравится, но, говорят, вроде Марлинского — ну, так верно твоя. Очерки его в VII номере «Библиотеки» начал было читать, но бросил прочетши, «что ветер завивает пыль в кудри». Прощай. Не могу больше писать, несмотря на всю охоту. Твой Станкевич. [...]

57. Я. М. Неверову

18 августа 1836. Удеревка

Любезный Генвары! Давно я не писал к тебе — обвиняй в этом дьявольские горы Кавказа, стеснившие мне снова дыхание... до сих пор еще не совершенно прошел у меня напор крови на грудь, сделавшийся от путешествия на вершину Бештау. Вот почему писать мне было невозможно.

Мы приехали в деревню 3-го августа. Надобно побывать на Кавказе, чтоб чувствовать прелесть внутренних стран России, прелесть гражданственности и населенности. Степи Кавказа, сухие, грустные, оканчивающиеся суровыми горами, истомили мне душу. Я совершенно с тобою согласен на счет Азии: Сирия, Палестина, Индия — вот куда стоит поехать. Но... вспомни, что мы более изучали эти земли по древней карте, нежели по новой, мы воображаем их с древнею гражданственностью — но сколько воспоминаний и какая должна быть природа! Даже Закавказье с его древними монастырями, нефтяными источниками, виноградниками и богатыми долинами — привлекательно! Глядя на Эльбрус, томишься по той стране, также печальной для европейца, но полной поэзии — за этою снежною цепью начинается новый мир, который мы знаем из полубаснословных рассказов, из путешествий, из надутых повестей Марлинского. Там не осуществится ни одного из прекрасных ожиданий души твоей, ни одна высокая человеческая мечта... но ты насытишься разнообразными картинами, воспоминаниями! [...] Твой Станкевич. [...]

58. Я. М. Неверову

21 сентября 1836. Удеревка

[...] Я получил письмо от Мишеля. Он как нельзя лучше сошелся со своим семейством и приобрел, наконец, полную доверенность и дружбу отца. Белинский отдыхает у них от своей скучной, одинокой, бурлацкой жизни. Я уверен, что эта поездка будет иметь на него благотворное влияние. Полный благород-

ных чувств, с здоровым, свободным умом, добросовестный, он нуждается в одном только: на опыте, не по одним понятиям, увидеть жизнь в благороднейшем ее смысле, узнать нравственное счастье, возможность гармонии внутреннего мира с внешним, — гармонии, которая для него казалась недоступною до сих пор, но которой он теперь верит. Как смягчает душу эта чистая сфера кроткой, христианской семейной жизни! Глубоко понимал Шиллер все лучшее в божьем творении. Мужчина груб в своей добродетели, все благородные порывы души его носят какую-то печать цинизма, какую-то жестокость; в нем больше стоицизма, нежели христианства, нежели человечества. Только влиянием женщины, влиянием семейных отношений это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается в отрадное чувство любви, сознание добра — в непосредственное его ощущение. Семейство Бакуниных — идеал семейства, следовательно, можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божьей! Нам надобно ездить туда исправляться... но я — я боюсь испортиться. Мишель зовет меня в Премухино со своим обыкновенным прямодушием, добротою — не знаю, поеду ли?.. Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского: я слишком верю в семейное счастье; а иногда с сердечною болью думаю, что это одно возможное... Мне надобно больше твердости, больше жестокости.

В Москве я думаю заняться приготовлением к вояжу. Посоветуй мне, что ты считаешь нужным с твоей стороны. Я думаю сблизиться более с искусством, прочту Винкельмана для новых — не знаешь ли ты чего? Спроси у доброго Венециянова. Мне хотелось бы познакомиться ближе с живописью, узнать теоретически различные школы живописцев и их отличия, господствующие вкусы эпох, чтобы не соблазняться и уметь отдать кесарево кесареви, а божье — узнает душа, если она не совсем заросла земной корою. Кроме того, хотел бы я узнать биографии художников. Каждое произведение составляет два произведения: одно безотносительное, которое ценится чувством с первого взгляда, и другое — составляющее целое с жизнью художника, отдельное явление в драме его

жизни. И много произведений, имеющих небольшую цену безотносительно, получают высокий смысл, рассматриваемые в отношении к их творцу. Кроме того, мне хочется получше заняться историею. Несмотря на все попытки овладеть ею, я еще совершенный невежда. Не думай, чтоб это была сократическая скромность. Я слишком рассеянno занимался ею. Геродот и Фукидид вышли совершенно из головы, как будто бы никогда в ней не были; «Идеи» Геерена памяtnы только в результатах, имена и числа местами хорошо помню, местами перепутал. Беспрестанные вояжи и болезни мешали мне беспрестанно. Новую историю я довольно хорошо знал для школы, но и та теперь в тумане. В средней, особенно в самой интересной части — XII, XIII, XIV и XV веках, стыжусь своего полного невежества. Разумеется, что заняться ею теперь ученым образом до отъезда невозможно. Хорошо бы успеть прочесть не источники, а несколько обработанных сочинений именно: Гиббона для средней истории, «Историю Карла V» Робертсона и еще что-нибудь, и вторично Минье для новой. И то много! Когда все это сделать? Посоветуй мне что-нибудь! [...] Философиею — главное дело — уж займусь вполне там, я отчасти приготовлен, в ней надо самому мыслить; там помогут скорее, нежели здесь, и, освободив себя в России от лишних трудов, я буду иметь более времени вполне ею заняться. А если ты подымаешь свой голос — голос богохульный — против философии, то я... прибью тебя. [...]

Будет же о философии. Мне надобно мужаться, встать и дать ответ Грановскому на его сомнения в себе и отчаяние. Никто не может отвечать лучше того, который находится сам в его положении. Более простора уму, более любви сердцу, — и все эти сомнения: как мне быть? что мне делать? что из меня выйдет? пойдут к черту. В самом деле: чтоб истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человеку закоренелому в эгоизме: ты — ничто! вот до какой мысли достигнешь ты путем науки; счастье, достойное человека, может быть одно — самозабвение для других; награда за это одна — наслаждение этим самозабвением — и он опечалится, хоть бы в самом деле от юности своя соблюл все законы чести и справедливости. А кто бескорыстно ищет истины, тот

уже очищает душу и prepares ее к принятию божества. Царство истины — царство божие; оно в мире, но не от мира. [...] Твой Станкевич. [...]

59. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому

21—22 сентября 1836. Удережка

21 сентября

Милый мой Мишель! Я получил 17-го сентября письмо твое от 1-го, писанное, как видно по всему, из Премухина, но, по аккуратности — единственно нам с тобою свойственной — носящее в начале своем громкое надписание — Москва. Оно меня обрадовало больше, нежели ты можешь себе представить. Я так давно ждал от тебя какого-нибудь известия и вдруг получаю такие удовлетворительные сведения о тебе и о другом животном, тебе подобном, которое, наконец, спущено с цепи, покинуло «Молву» — свою грязную конурку — и теперь вертит хвостом и высовывает язык, как благовоспитанная собака. Итак, этот циник, этот Диоген, эта бестия, говоря языком хорошего общества, в Премухине! Судьбы небесные! Дай мне прижать его к моему сердцу... разбойник! а я думал, что он, погрязший в нечестии и беспутстве, бродит по улицам московским и высматривает, не мелькнет ли платице... Каналья! а я думал, что он принимает слабительное, говоря языком философским, и бранит природу, а он покался, умылся и примирен с жизнью и хочет заняться высоким, между тем как я, желавший так искренно внести мир и благоухание в его душу, мятежную и зловонную, я, проповедник высоких истин пред лицом его —

Уже не помню дней былых
Невинной тишины,

преследую зайцев и бекасов, возвращаюсь домой с полным ягдташем и пустою душою, ем, ложусь спать, думаю о Берлине, о счастье, о жизни, зайцах — и кончаю тем, что, видно, так нужно и что, может быть, завтра лучше будет. Но страсть к проповеди не покинула меня. Сейчас только писал к Неверову о том, о сем, и, наконец, длинную рацею в защиту ума, на который он, впрочем, и не

думает нападать. Мне предстоит большой труд — отвечать Грановскому на его сомнения в самом себе, когда я сам, когда мы все так часто подвергаемся этому недугу. Это недостаток любви, это подлый червячок эгоизма и вместе с этим начало хорошего, досада на свою нестойкость... эта смесь делает такую кутерьму в нас. А Грановский, кажется, не дал еще себе отчета, чего он хочет? Это тем труднее, что наукою своею он принужден отчасти заниматься *ex officio*¹. Эти сомнения гораздо реже стали навещать меня с тех пор, как я предположил себе цель в науке; черт ли, что я не буду знать многих фактов... а его тревожит необъятность предмета, как он мало знает и как мало занимается в сравнении с теми, которые несравненно больше знали и всю жизнь учились. В душе его истинная искра божия, и я буду говорить ему прямо и откровенно. Ему нужно больше уmozрения. Но об этом после.

Ты, Белинский и Ефремов теперь живете вполне. Прекрасные осенние дни, прогулка, музыка, беседа внизу и беседа наверху, искусство, философия, общее наше будущее — все это вы переберете в твоей маленькой комнатке, под навесом табачного дыма. Завидую от всей души, завидую — и я не стыжусь высказывать этого эгоистического чувства. [...]

22 сентября

Душенька Белинский! Как мне хочется с тобою увидаться и наговориться! Что каналья, что бестия! Ага, каналья! Тешься подлец, а мне...

Пора, пора, в рога трубят —
Псарь в охотничьих уборах..

60. Т. Н. Грановскому

29 сентября 1836. Удереvка

Две или три почты тому назад получил я письмо твое из Берлина от 11/23 августа, милый мой Грановский! Но не мог тебе скоро отвечать по разным причинам. Я получил его среди съезда охотников,

¹ *Ex officio* — по должности, по службе (лат.).

в чаду глупостей, которым я иногда люблю предаваться; мне тогда же хотелось поговорить с тобою, но я не успел. Буду отвечать тебе на твою исповедь и на твои сомнения точно так же, как я отвечаю себе на свои. Ты недоволен собою? Поблагодари за это бога. Ты сомневаешься в себе, в своих силах, ты хочешь дать себе отчет в самых чистых твоих намерениях, проверяешь свои потребности? Ты начал прекрасно, как не может начать иначе никто, достойный имени человека. Все затруднение в том, как перейти от этого состояния недоверчивости к себе и сомнений к деятельности — деятельности полной и разумной, которая бы удовлетворила тебя, дала мир и наслаждение душе твоей. Всякий другой решил бы это дело просто: стремись к тому, чего желаешь, ищи ответа на те вопросы, которые с большею силою гнетут тебя, ступай в тот мир, которого гражданином ты себя чувствуешь. Но я не скажу тебе этого — не только потому, что железная необходимость заставит тебя заниматься многим, о чем душа не спрашивала, но и потому, что ясно сознать свои потребности — не есть дело одной минуты. — я это знаю.

Друг мой! Не всякому первое воспитание позволило свободно развить все добрые начала, данные ему матерью-природою; иногда они погибают без возврата. Но если искра божия долго тлится под пеплом ничтожных сует, если человеческая натура наша долго дремлет под колыбельную песенку ложных правил, предрассудков, самолюбия — и вдруг очнется, она не может разом сознать себя, она чувствует только, что все предлагаемое ей для потребления не приносит ей никакого удовольствия, не зная, чего ей надо. Она нуждается в потребностях. Ей надобно возвыситься до них. Как это делается? Какое-нибудь обстоятельство жизни, какое-нибудь внезапное чувство, иногда долгий опыт, иногда размышление, наводит нас на путь — и мы удивляемся, как могли блуждать прежде. Я тебе говорю прямо и откровенно, тем более, что я сам в одном с тобою положении, но только немного спокойнее на счет своих потребностей, потому что имею об них довольно ясное понятие. Чтоб нам лучше понимать друг друга, я расскажу тебе в немногих словах историю моей душевной жизни, исключив из нее все, что относится к домашнему быту моей ду-

ши — это дело постороннее. Эта история похожа, может быть, на китайскую: но пусть будет так. Мальчишка 14 лет, я стихоблудничал, по верному выражению одного чудака; я, не без души — если она во мне и не имеет больших достоинств — марая бумагу и вытягивая метафоры и пышные фразы, иногда что-нибудь и чувствовал, особенно в последнюю эпоху моего стихотворства, когда я вышел из-под опеки учителя поэзии и начал понемножку лучше понимать сущность искусства и некоторые стороны жизни. Лекции Надеждина — как ни были они недостаточны — развили во мне — сколько могло во мне развиться — чувство изящного, которое одно было моим наслаждением, одно моим достоинством и, может быть, моим спасением. Со всем этим, Грановский, я не понимал жизни, я не имел цели, я был так мелок и ничтожен, что стыжусь вспомнить: я увлекался мнениями недалеких людей, я дорожил мнением светской черни, мне казалось стыдно не иметь знакомства, казалось необходимо быть в свете и стараться играть в нем какую-нибудь роль. Я говорю тебе все это, не запинаясь. Вышедши из университета, я не знал за что приняться — и выбрал историю. «Давай займусь!» — вот каков был этот выбор! Что я в ней видел? Ничего. Просто это было подражание всем, влияние людей, которые не верили теории, привычка к недеятельности, которая делала страшным занятие философиею и изредка обдавала каким-то холодом неверия к достоинству ума. Шеллинг, на которого я напал почти нечаянно, опять обратил меня на прежний путь, к которому привела было эстетика — и с тех пор более и более, при всей моей недеятельности, я начал сознавать себя. Грановский! веришь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви, и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другие больше моего знали, может быть, я буду знать лучше — и тут нет лишнего самолюбия. Пришло время. Лучше — я разу-

мею — отчетливее, в связи с одною идеею, вне которой нет жизни. Другое дело прагматический интерес в науке; тогда она — средство, и это занятие имеет свою прелесть, но для этого надобно иметь страсть, преодолевающую все труды, а к эдакой страсти способны люди односторонние: ты не из этого рода людей — это можно узнать, взглянув на тебя. Больше простора душе, мой милый Грановский! Теперь ты занимаешься историею: люби же ее как поэзию, прежде нежели ты свяжешь ее с идеею, как картину разнообразной и причудливой жизни человечества, как задачу, которой решение не в ней, а в тебе, и которое вызовется строгим мышлением, проведенным в науку. Поэзия и философия — вот душа сущего. Это жизнь, любовь; вне их все мертво. Ты скорбишь о том, что едва знаешь имена тех людей, которых Миллер называл великими — не говоря о том, что на счет величия людей можно иметь разные понятия с Миллером, я скажу одно: что за потребность узнать и того и другого и третьего; ты узнаешь их тогда, когда в тебе будет вопрос, которого решению они могут способствовать.

Всякое чтение полезно только тогда, когда к нему приступаешь с определекою целью, с вопросом. Работай, усиливай свою деятельность, но не отчаивайся в том, что ты не узнаешь тысячи фактов, которые знал другой. Конечно, твое будущее назначение обязывает тебя иметь понятие обо всем, что сделано для твоей науки до тебя, но это приобретается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а это основание скрепишь идеею. Тогда, поверь, беглое чтение больше сделает пользы, нежели теперь изучение. Довольно пока тебе слушать Раумера и Ранке. План твой — читать вместе с этим обработанные сочинения — мне очень нравится. Вот я так уж совершенный невежда — и то еще не тужу.

С божиею помощью, в мае 1837, мы с Януарием явимся к вам в немецкий город, за немецкою мудростию и побеседуем обо всем вдоволь. [...] Твой Станкевич,

61. Я. М. Неверову

19 октября 1836. Москва

Милый друг Януарий! [...]

Итак, я должен сказать тебе, что твое уважение к философии, по-моему, хуже вражды к ней, и если уж бить тебя, так бить не за вражду, а за уважение. Ты смотришь на нее, во-первых, как на одну из наук, во-вторых, как на одну из наук второстепенных. Не говоря уже о последнем взгляде, первый обнаруживает, что ты не составил себе ясного понятия о философии, и что твое к ней уважение не стоит благодарности с ее стороны. Нет, мой Генварь! Философия не есть наука в ряду наук, но высочайшая из всех, служащая им основанием, душою и целью. [...]

Приезде ты не должен ни у кого останавливаться, кроме меня — если тебе будет и тесно, ты будешь у своих, а о Шевыреве мы поговорим много. Этот человек не существует для мысли.

Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? я — цензор Белинского? Смело скажи всякому, кто говорит это, что он говорит вздор. Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе», подвергал цензорству Белинского в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу. [...] Твой Станкевич. [...]

62. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому

22 октября 1836. Москва

Милый Мишель! Я опять московский житель, обси́длся, осмотрелся, сбрасываю понемногу дикие привычки и цивилизуюсь. [...]

Жизнь, которую я веду теперь, довольно неприятна, как всякий переход. Не принялся хорошенько за дело и еще не имею к этому средств: жилье не учреждено, нужных книг никак не достанешь, Но все к луч-

шему! А ты — к тебе, о неумойка, обращаюсь я, внимай: ты когда возвратишься в Москву? Увы! вот он, вот тот «Телескоп», где, подобно вывеске «Портерная лавочка», красовались таинственные буквы В. и Б. — с жадностью хватался я за неуклюжую книжку, рвал ее толстую бумагу и — не читал, а слушал тебя, животное! В несносном Пятигорске, не видя тебя, не получая писем, я видел и ощущал тебя в твоих побранках, и сердце мое радовалось от знакомого голоса. Я говорю тебе это не шутя, о гадкий Виссарион! Теперь пришлецы, незнакомые, безжизненные лица смотрят из окошек «Молвы»; я пробегаю ее с таким же грустным, тяжелым чувством, с каким прохожу мимо своей старой квартиры у Ковалинской, где мы, бывало, шумели, и где теперь затихло; оттуда перешел, кажется, и Межевич, где бог знает — кто поселится. Я был у Надеждина и спросил его: скоро ли возвратится он, смелый вождь «Молвы»? Но Надеждин, бледный и истощенный, печально покачал головою и отвечал: «Не знаю». Какие-то звуки от тебя донеслись до него — но волшебник, по имени цензор, утаил половину их у себя — другой я еще не слышал, а вождь «Телескопа» говорит, что из этой половины половина только будет известна миру. Это меня опечалило, и я возвратился домой с твердым решением не читать «Телескопа» и не видать «Молвы», пока не вложу персты мои в рот тебе, хоть и говорят люди, что тебе не должно класть пальцы в рот!

На тебя, о гость, хотят напечатать, или напечатать, эпиграмму, в которой плебея очень остроумно и деликатно разложили на плюй и бей. Эта выходка совершенно в духе века и хорошего тона. Ключников говорит, что когда учитель выходит из класса, то ученики бросают в кафедру жеванною бумагою. Он же к названию Пушкина журнала «Современник» прибавил «Наблюдателю». Я без вас серьезно скучаю; кроме того мне и завидно — но делать нечего. Работайте, живите по-людски, вспоминайте изредка нас — бедных Диогенов, но поминайте не лихом. [...] Твой Станкевич.

3 ноября 1836. [Москва]

Милый друг Мишель! Третьего дня я получил письмо твое от 27-го октября: признаюсь тебе, я уже начинал досадовать на твое молчание. Как, черт возьми! Почта ходит каждый день, а он, каналья, в три недели строчки не напишет! Но, спасибо тебе, ты славный мальчик: почувствовал вину свою, с должным ко мне почтением уведомил о состоянии своего здоровья. Очень рад, что ты — слава богу: слава богу лучше всего.

Благодарю тебя за стихи и ноты. Конечно, я не сделался лучше от того, что люди, которых я уважаю, считают меня за человека, но, право, это возбуждает желание быть человеком. Ты довольно хорошо меня знаешь и поймешь, как утешила меня эта доверенность — еще раз благодарю тебя и сестру твою. Я не знаю, с чего ты взял, что стихи — и так и сяк: это заставляет меня усомниться в эстетическом чувстве, которое ты открыл в себе. Стихи прекрасны и какие-нибудь две, три бедненькие рифмочки, которые, может быть, внушили тебе это мнение, пропадают и не заметны совершенно в избытке души, которым полна вся песня. Я ее никому не показывал, кроме брата, которому, поверь, можно показать их, и не покажу никому. Костинька говорил мне, что ему сказывала Анета об отправлении этих нот, но я и ему не показал их.

Твои планы так же хороши, как твои убеждения, и я сильно надеюсь, что найду легкое средство содействовать им. Не думай, пожалуйста, что отец мой с неудовольствием дал деньги Б.; напротив, он не сказал ни полслова. Об этих делах переговорим в Москве. Я придумал довольно хорошую штуку. Вчера я получил письмо от Генваря: он посылает мне... что ты думаешь? Гегеля! 13 томов! Как я обрадовался! Забыл посмотреть, что транспорт десятидневный и вчера же отправил человека, а книги будут еще через 5 дней. Теперь будет над чем поломать голову. Но он пишет, что уведомил Белинского о разных речах людских насчет его таланта... Это — не безделица. Ржевский сегодня мне все расскажет; Ключников виделся с ним и вчера едва успел сказать мне кой-

что. Мы брали уроки у англичанина. Ты, думаю, слышал о запрещении «Телескопа». Издатель и цензор поехали в Петербург. Чаадаева я не знаю и никого из его знакомых; говорят, он едет зачем-то в Вологду.

Я оканчиваю письмо к тебе, чтобы написать несколько строк Виссариону, который решительно сбился с толку! Прощай! Скажи мое почтение Александру Михайловичу и всем вашим. Жду тебя к половине ноября. Неверов заедет сюда к 6-му декабря, на 28 дней. Немудрено, что и я провожу его в Питер. Прощай! Твой Станкевич.

Любезный друг Виссарион! Ты знаешь о всех неприятностях с «Телескопом», но вы с ним чужие — ты едешь в качестве учителя. Но, пожалуйста, разузнай о людях, у которых ты будешь жить, и способен ли ты к той роли, которую, может быть, принужден будешь играть у них. По крайней мере, вперед решишь терпеть во что бы то ни стало, но эта поездка не стоит труда, если ты думаешь только взглянуть на все. В этом есть поэзия, но чтобы пребывание за морем имело какое-нибудь долговременное влияние на твою душу, для этого мало ограничиться глазеньем. Ты узнаешь хорошо языки — это для тебя чрезвычайно важно: тогда ты меньше будешь лениться читать. Ты способен увлечься и, понимая совершенно ясно язык, будешь работать с удовольствием. У кого есть искра божия и кто говорит «я не способен к ученому труду», тот клеветает на себя и погибнет, если не отбросит этой пагубной мысли. Я не разумею под этим обширных, разнообразных сведений — нет! но каждый должен отвечать на свои вопросы, которых у тебя много, а эти ответы довести до такой степени очевидности, какая может удовлетворить душе твоей, или совершенно сознать, что ничто не удовлетворит ее — но последнее вздор. Мы с Мишелем ломаем голову в Берлине, увидимся с тобою и, может быть, скажем что-нибудь убедительное и ясное тебе, если самого тебя не достанет на этот труд, — но, поверь, ты и сам примешься, когда узнаешь язык, и когда мы, хоть насильно, познакомим тебя с каким-нибудь надувателем человеческого рода. Эти идеи дают жизнь всем наукам и самой жизни. Между тем, искусство, история все-таки будут занимать тебя; все-таки ты будешь находить в них истинную пищу — потом воро-

тишься в Русь, тогда будь чем хочешь, хоть журналистом, хоть альманашником, все будет хорошо, только будь помирнее.

Прощай, душа моя! будь здоров и отдыхай на воле. Ты хорошо выучился ездить верхом? Жаль, что я не в Премухине, я был бы отличный *pendant*¹ к тебе. На днях я видел «Ревизора»: Щепкин превосходен в последнем акте, но в 1-м не постиг, кажется, Гоголя. Здесь играли «Урок матушкам», переделанную из «Трех женихов» Загоскина. Провидение! Где «Молва»? Нет ее! Где Белинский? Далеко! Позор, глупость, подлость, самохвальство, и актеры так старались сыграть ее, как не старались ни в одной пьесе от существования театров. Кланяйся Александру Павловичу, бог простит ему плоскости. Твой Н. Станкевич. [...]

64. Л. А. Бакуниной

20 января [1837. Москва]

Вот уж несколько дней, как от Вас нет писем. Это меня тревожит. Вы были нездоровы, маменька Ваша чего-то боится и огорчена — все у Вас в такой дисгармонии... Когда кончится этот проклятый январь?

Вчера Мишель отослал к Вам мое письмо. Несмотря на мои просьбы, он прочел его Бееровым. Мне было досадно! Я так разбранил их мать, как она этого заслуживала по моим понятиям, но я никогда не хотел бы, чтоб они слышали эту брань — что делать? Мишель получил письмо при них, принужден был прочесть, обещал не посылать, чтоб не огорчить их, но так как он был уверен, что все это останется между нами и что все, написанное мною, истина, то и решил отправить письмо. Прошу Вас, не намекайте им, что Вы получили его.

В Москве скучно, безотрадно. Я ничего не делаю, не могу ничего делать и не стараюсь принуждать себя. Работа хороша только тогда, когда в ней есть какой-нибудь интерес для души, а без него трудиться — все равно что толочь воду. Притом самые сухие вещи я читаю теперь охотнее, нежели что-нибудь

¹ под стать (*фр.*).

поэтическое: последнее рождает во мне такое мучительное чувство, такое Sehnsucht, которого я Вам не могу выразить — и это томление я должен теперь удерживать, сковывать, любоваться на московские тротуары, извозчиков, будочников, когда я хотел бы ничего не видеть, не слышать и не думать, пока очнусь в Премухине! Если я отвожу где-нибудь душу, так это у Бееровых; Белинский и Мишель утешают меня одни из всех товарищей, другие ничего не знают и, как я ни люблю их, но разговор с ними, совершенно чуждый для меня, тяжел нестерпимо.

Сейчас Alexandrine Beer¹ прислала мне письмо Татьяны Александровны к Анете Ржевской!.. Итак, все мои заверения напрасны! У Вас явились новые планы, новые мечты и, вдобавок, я не получаю больше писем; Вы без особенного волнения предаетесь мысли об одинокой жизни... я хотел бы, чтобы Вы были спокойны, но от уверенности в том, что нас никто не разлучит, что отец мой не тиран и не станет противиться моему счастью — а спокойствие этого рода меня пугает; поверьте себя, прошу Вас: если жизнь со мною не есть необходимость для Вас, если она не может искупить для Вас тех пожертвований, на которые Вы должны будете решиться и о которых Вы, может быть, мало думали, что тогда будет со мной? Скажите, молю Вас, пока есть еще время. Вы, верно, еще не получили моих последних писем: я надеюсь, что они успокоят сколько-нибудь Ваших родителей.

Будьте откровенны со мною, ради бога. Я через других узнаю об Вас — на что это похоже? И Вы нисколько не хотите мне верить?

Пишите ко мне. Я уж давно не получаю ничего от Вас — неужели эти сомнения заставили Вас решиться прекратить все сношения со мной? Нет, этого быть не может! Что ж это? Что-нибудь хуже, нежели сомнение? Но я не хочу останавливаться на этой мысли. Вы бы все сказали мне прямо; пощада пагубна в таких случаях — я могу все перенести с твердостью, с энергиею, все, кроме жертвы.

Я писал Вам, почему замедлилось дело: убедите Ваших, чтобы они не придумывали своих причин и, ради бога, сами не поддавайтесь этим фантазиям!

¹ Александра Беер (фр.).

Напишите мне, повторите мне, что любите меня, что готовы разделить жизнь со мною... если это так, то меж нами преград быть не может. Да сохранит Вас бог! — Н. С.

65. Л. А. Бакуниной

30 января [1837. Москва]

[...] На днях у нас давали «Гамлета». Полевой перевел его с английского очень порядочно, хоть, кажется, не всегда слишком близко. Я сужу по другому переводу, Вронченко, который и Вы знаете. «Гамлет» всегда был одною из моих любимых драм: может быть, оттого, надобно признаться, что у нас много общего с героем пьесы. Я никак не ожидал, чтоб он пошел порядочно на нашей сцене, но, к удивлению, Мочалов был превосходен, особенно во втором представлении; тут мы сидели рядом с Белинским: это удваивало для меня наслаждение — мы так хорошо понимаем друг друга, я во многом так ему сочувствую, что в иные минуты, право, бывает одна душа с ним.

Сцена Гамлета с матерью его, любовь к убитому отцу, его негодование на людские подлости и на свою слабость — все это живо проходило перед нами. Наконец, безумство Офелии, ее песни, шутики могильщиков, все это набросило такую мрачную, фантастическую тень на представление, что оно, несмотря на множество недостатков, не могло не оставить сильного впечатления. Но вот к чему все это идет: когда я стал говорить Белинскому о характере Офелии, о том, как я люблю эту роль — он не мог не рассмеяться и уверял меня, что я сочиняю этот характер по живому образцу. Нет, я, право, беспристрастен. Тут есть сходство с одним знакомым мне лицом, но что ж удивительного? Шекспировские лица очень часто встречаются в свете. Вот что я говорил ему: «Офелия — душа чистая, нежная, неопытная и одна из тех душ, которые никогда не делаются опытными; она детски привязана к отцу и брату, эта привязанность составляла всю жизнь ее, все счастье, и когда в ней темно, бессознательно явилось новое чувство, она старается согласить его с прежней жизнью, готова даже

навсегда заключить его в себе, чтоб не выйти из пределов покорности отцу; совет брата (этот глупый народ везде вмешается) усиливает это решение,— она не совсем ему верит, она знает благородство Гамлета и спрашивает брата: не похож ли он на тех, которые любят только указывать путь, а не ходить по нем... но, за всем тем, решается быть осторожнее, по приказанию отца возвращает Гамлету его подарки и письма и с горестью слышит его безумные слова: я не любил тебя... Эти слова могли огорчить ее глубоко, но не лишили рассудка. Для этого нужна была смерть отца, внезапная и насильственная — слабый состав ее не мог вынести этого удара — он разорвал самую сильную связь ее с жизнью, разрушая основу души ее = она лишилась ума и в безумных песнях изливает все свое глубокое горе, все, что составляло ее счастье, чем она жила... Тут и отец и любовь ее и воспоминания детства. Вы не можете себе представить, как действует на меня эта безумная Офелия! Бледная, с растрепанными волосами, убранная соломою, приходит она на сцену и начинает петь. Музыку написал Варламов. Я постараюсь достать ее. Первая песня у него очень проста и хороша, с аккомпаниман нескольких аккордов, которые медленно тянутся и умирают прекрасно, но дальше музыка немножко оперна: это не идет. Я слишком расписался о «Гамлете», но теперь еще слишком живо во мне его впечатление, и я не мог удержаться, чтоб не сообщить его Вам. [...] Н. С.

66. Я. М. Неверову

11 февраля [1837]. Москва

Милый друг Януарий! Я получил от тебя два письма с тех пор, как отправил к тебе мое; одно из них доставил мне Иван Алексеевич. В жизни я легкомысленнее, поверхностнее тебя, милый Януарий, и потому смерть Пушкина не сделала переворота в состоянии души моей, но она глубоко поразила меня в первые минуты и потом оставила во мне какую-то неопределенную грусть. Я писал об этом к Л. Признаюсь, я не постигаю для себя возможности того положения, в котором находился Пушкин, и не ценю

его поступка, не знаяши порядочно, что привело его к этому, да и ценить поступок великого человека на основании какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Он умер не пошло; если он и жертвовал жизнью предрассудку, все-таки это показывает, что она не была для него высочайшим благом. Если жизнь становится пустою формою, без всего, что должно ее наполнить, тогда, может быть, и легко ею пожертвовать, но потерять все в жизни и не утешиться ее пошлостями,— для этого нужна душа получше. Я примирен с Пушкиным. Спокойствие было не для него: мятежно он прожил и мятежно умер. Не хочу обвинять и жены его; в этом событии какая-то несчастная судьба. Говорят здесь, будто она посажена в монастырь. Жаль, если это правда. Зачем стеснять ее свободу? Если в ней есть человеческая душа, пусть она страдает; если она, в самом деле, от души любила другого, все-таки она будет выше добродетельных женщин, которые никого не любят. [...]

Белинский, кажется, не сойдется с Краевским. И что за журнал! Что за критика! за язык! Право, можно подумать, что эта газета издавалась в 13-м, 14-м году — совершенно тот же склад. [...] Пиши ко мне! Твой Н. Станкевич. [...]

67. Л. А. Бакуниной

15 февраля [1837. Москва]

Уж несколько дней тому назад, как я получил Ваше последнее письмо, но не мог отвечать или, лучше сказать, просто не хотел. Я был в таком неприятном расположении, которое наверное отразилось бы в письме и, может быть, навело тоску на Вас. Я теперь на перепутье — ничего нет верного, решенного: мне кажется, что я живу на каком-то постоялом дворе, еду в какой-то дальний путь, а куда, не знаю... К этому присоединилось небольшое физическое расстройство, но теперь опять все прошло. Отчего? Сам не знаю. Хорошие, ясные дни, здоровье немного получше, и от этого исчезают все грустные мысли, надежды возникают в душе сильнее, нежели когда-нибудь, радуешься — и сам не знаешь чему,

Вы хотите работать над собою. Знаете ли что? Работа по канве полезнее. К чему работать над своим усовершенствованием? В этом успеть невозможно. Замечать в себе какие-нибудь недостатки, давить их поодиночке, для этого нужно внимание, борьба, осторожность — и это ли жизнь? Нет, не частности должен исправлять в себе человек. Если он заметил их в себе, то должен заметить и общий источник, из которого они выходят. А всем нашим слабостям один источник: недостаток любви. Можно любить сильно, от всей души, — и при всем том любить еще недостаточно, тесно. Пусть растет, расширяется эта любовь (я говорю не про одну любовь женщины к мужчине и наоборот, хотя человек, неспособный к этой любви, не может питать и никакой), дайте простор душе — есть минуты, когда музыка, поэзия необходимы для ней — не отказывайте ей в этой пище; поменьше думайте о своем несовершенстве, побольше обо всем, что есть прекрасного в мире; только не старайтесь искать его с намерением и особенно там, где его быть не может — вот один путь сделаться лучше, кому нужно. [...] Н. С.

68. Л. А. Бакуниной

22 февраля [1837. Москва]

Последнее письмо Ваше сделало на меня грустное впечатление: я никогда не верю и имею причины не верить темным страхам, которые беспокоят людей в самые лучшие минуты, но как устоять против невольной грусти, когда существо, которого жизнь и счастье составляют для нас все, напомним нам, что и оно может нас оставить... Не верю в значение этих страхов, но самая мысль эта заставляет мучиться. Во всяком случае, ей нужен отпор — и вот он: я не хочу пережить Вас. Когда люди собьются с толку, когда поддадутся немножко власти темных ощущений, которые показывают только болезненное состояние души, тогда теории теряют часть своей силы, и я с тайной радостью верю, что судьба не даст мне пережить Вас, что Вы проживете долго, для счастья всех, кто Вас хорошо знает, или, что и моя жизнь

коротка. Если ж Вам хочется, чтоб я подольше побродил по свету, гоните от себя эти смутные мысли.

Вы хотели, чтоб я Вам сообщил подробности смерти Пушкина: я сам их мало знаю, но скажу Вам несколько из того, что сообщил мне Неверов. Он читал журнал, веденный доктором Далем, другом Пушкина (это — Казак Луганский), который присутствовал при его кончине. В продолжение двух суток ужасных мучений он не стонал, чтобы не беспокоить жены своей и в последние часы жизни стать выше физических страданий. За полчаса до смерти Даль взял пульс больного — пульс едва бился, концы пальцев начали холодеть. Это было верным знаком, что его прекрасная жизнь догорала. Даль позвал всех. Пушкин открыл глаза, догадался, улыбнулся и спросил стакан воды. Жуковский подал. «Нет, друг, — сказал Пушкин, — пусть последнее питье подаст мне жена». Она вошла, стала на колени у изголовья и подала воду. Пушкин выпил, улыбнулся и поцеловал ее. «Не плачь, все будет хорошо». После этих слов начался бред, и он догорел. Я плохо верю слухам, которые везде ходят о причине его дуэли, потому что знал сам несколько случаев, сделавшихся предметом общей молвы: об них говорили еще хуже, между тем как я очень хорошо знаю совершенно противное. За всем тем, очень вероятно, что жена его не любила. Не знаю, что заставило ее выйти за него: может быть, она была увлечена его талантом, может быть, представила его себе в идеальном свете. Можно вообразить себе человека в каком-то особенном образе. Узнавши его короче, можно увидеть, что он лучше, нежели мы об нем думали, лучше — да не тот. Любовь не раздается по числу нравственных достоинств: любят все, что составляет человека, а эти составные части представляются иногда совсем иными, нежели в самом деле. Мужчина не рискует в таком случае: на его стороне опыт и не совсем благоприятный взгляд на жизнь, от него не укрывается все, что в ней есть прозаического. Но женщина, чем выше, чем святее, тем склоннее к ошибкам. И если говорят, что она не может никогда понимать вещей в настоящем их виде, так это потому, что душа ее нуждается в лучшем... Неприятная, страшная мысль, — позднее разочарование — лучше забыть об этом! Прощайте!

Посылаю сейчас письмо к Мишелю. Мы с ним будем сегодня в дневном спектакле. Дают «Фрейшюца». Ваш Станкевич.

69. Л. А. Бакуниной

3 марта [1837. Москва]

Со мною делается что-то непостижимое. Я так быстро, так часто перехожу из одного состояния в другое, что, наконец, теряюсь и не умею дать себе в этом отчета. Мои расстроенные нервы играют здесь не последнюю роль, физическое страдание представляет весь свет в таком черном виде, но это проходит и мне опять легче.

Сегодня — такое очаровательное утро. Солнце делает на меня всегда приятное впечатление, оно отогревает душу: так всему веришь, всего надеешься, пробуждается старое суеверие, старая доверчивость к судьбе и чудесам в божьем мире. Первая мысль об Вас: в этом чудесном свете Вы являетесь мне тихим, кротким ангелом мира, который послан украсить жизнь мою, расцветить ее радужным цветом любви.

Знаете ли, есть минуты, в которые мне странно бывает представить нас вместе в простых, близких, людских отношениях. Вы мне казались так святы, так недоступны. Вы были для меня видимое Провидение, видимое божество. Я не думал, чтобы судьба могла соединить нас когда-нибудь — и вместе питал суеверную надежду на ее милости. И если бы мы не узнали, что необходимы друг другу, все-таки жизнь моя протекла бы под сенью Вашего образа; все святое и прекрасное внушено было бы Вами. И теперь, когда нам предстоит вечный, неразрывный союз, Вы все остаетесь для меня так же святы; я с таким отрадным чувством благоговения сознаю все Ваше превосходство надо мною, с таким упоением готов преклониться перед Вами — душа нуждается в этом видимом божестве, ей необходимо в живом образе увидеть мир и любовь, которые потемнены во вселенной!

Зачем я теперь не с Вами? Эти прекрасные дни, эта жизнь, которая пробуждается в природе, были бы

для меня вдвойне упоительны — мы бы любовались на чудесный колорит весеннего неба, ощущали живое биение вечной любви в природе!

Федор забыл взять с собою песни Шуберта; я отправлю их послезавтра (в пятницу). Как бы мне хотелось услышать их с Вашим голосом — Вам они очень понравятся. Мишель сказывал мне, что он писал в Премухино очень много наставлений: у этого человека страсть всех учить. Недавно он сбил с пути Лангера, славного музыканта, и заставил его читать Фихте. [...] Каково покажется? [...]

70. Я. М. Неверову

17 апреля 1837. Москва

Любезный друг Генвары! Я совсем собрался в путь; грустно, мочи нет — сам не знаю отчего! Мне ужасно хотелось вон из Москвы, мне лучше будет на свободе, но выехать ужасно грустно!.. ничего за душою!.. Прощай! Грановский скажет тебе мой адрес. Мы с ним подружались, как люди не дружатся иногда за целую жизнь. Прощай, Христос с тобою! Твой Станкевич. [...]

71. В. Г. Белинскому

[Середина апреля 1837. Москва]

Как дела твои?

Любезный Белинский! Я хотел писать к Мише. Начал, вставил немецкие фразы: но все это будет подозрительно. Напиши лучше ты ему, сделай милость, несколько строк. Иван сей час отнесет на почту, — но не выкидай из головы, что письмо твое может попасть в чужие руки. Вот главное: 1. Если он не выехал и ему нужны деньги (может, он в дороге), то ты нашел их — пусть скорей напишет. 2. Что меня доктор гонит в деревню, требовал сначала, чтобы я выехал на Святой, сердится и говорит, что я должен выехать из Москвы не позже как в последних днях Святой или на Фоминой, если не хочу еще заболеть. Что я еще раз буду в Москве проездом, но все-таки

не хочу уехать, не видав его; хочу услышать от него про их семейство, поговорить и пр. Что он должен здесь быть на Святой, ибо мне неизбежно выехать в воскресенье на Фоминой, но если Вар[вара] Алекс[андровна] и Саша не поправились, делать нечего, увижусь с ним позже. Твой С[танкевич].

72. Л. А. Бакуниной

1 мая [1837. Москва].

Вчера получил письмо Ваше. Не понимаю, каким образом мое так долго не дошло до Вас. Или оно затерялось на почте, или сообщение между Торжком и Премухиным не довольно часто. Я собирался выехать в деревню еще прошлое воскресенье. Меня остановила ненастная погода — холод и дожди. Доктор велел мне остановиться; сам он уезжает — и мне Москва становится нестерпима. Дней через пять, даже если не уймется погода, возьму с собою сестру и отправлюсь. Это тем нужнее, что отец мой теперь в самом тяжелом положении. Его смущает моя болезнь, которой окончанию, может быть, он не слишком верит, и мой отъезд, болезнь матери моей и, наконец, смерть моей племянницы, которая нынешнею зимою приезжала в Москву. Наш приезд утешит его, я уверен.

О моем увольнении нет слуху. Просьба не приходила еще в Петербург, — боюсь, что опоздаю, и мое лечение пропадет ни за что — но что будет, то будет.

Это последнее время мы все решились проводить почаще вместе. Собираемся у меня, читаем Гоголя. Самые интересные лица у нас — Лангер, которого Вы, я думаю, знаете по рассказам Миши, и Боткин. Первый — музыкант, немец, но довольно хорошо понимает русский язык и в душе может совершенно понять и оценить Гоголя. Он не получил, кажется, никакого постоянного образования, но — что за верные понятия об искусстве, жизни! Другой — молодой купец, недавно приехавший из-за границы — человек, каких я, кажется, не встречал! Столько ума, столько гармонии и святости в душе — мне легче, веселее, когда я его вижу. Досадно, что мы познакомились

так поздно и так скоро разлучаемся, досадно, что нельзя увезти его с собою за границу, чтоб он там делил мое горе, мою душу, мирил ее с самой собою и облагораживал. Может быть, я увлекаюсь — но нельзя не увлечься, встретив человека, в котором так много прекрасного. Я думал, что, кроме тех людей, с которыми сблизило меня одно воспитание, не могу никого найти по душе — и вот не первое доказательство моей ошибки. Мало людей на свете! и с какою отрадою сознаешь свое ничтожество перед такою прекрасною душою: как хочется сблизиться, сродниться с нею — и одно желание делает лучше. Марья Афанасьевна часто говорит правду: не думай о себе, смотри на добро и сделаешься лучше.

Я в ужасном затруднении, когда мне нужно поздравлять или благодарить такого человека, для которого эти слова так же бессмысленны, как и для меня, такого человека, к которому питаешь чувство не по годовым праздникам... все это предисловие ведет к кошельку, который Вы мне прислали и который, со свойственной Вашему брату точностью, я не получал до сих пор. Кстати отложить благодарность до другого времени, — по крайней мере, буду знать, за что благодарить... Я рад, что Вам нравится музыка Шуберта. Право, не знаешь, что назвать у него лучшим. «Atlas»¹ мне нравится чрезвычайно, но только когда его играет Лангер. Затем «Doppelgänger»² и, наконец, святая пьеса: «Am Meer. Fischermädchen»³ и «Ade»⁴ — тоже чудо, как хороши в своем роде, а «Die Stadt»⁵ превосходна, когда его играет Лангер. Совершенно порывы ветра и шум волны. Прощайте! Спешу отправить письмо к Мише. Мое почтение Александру Михайловичу, Варваре Александровне и сестрицам. Часто ли они бранят меня? — Николай Станкевич.

¹ «Атлас» (нем.).

² «Двойник» (нем.).

³ «У моря. Рыбачка» (нем.).

⁴ «Прощай» (нем.).

⁵ «Город» (нем.).

2 июня 1837. Острогжск

Вот уж больше двух недель, как я приехал в деревню, но до сих пор не мог написать двух строк. Прошедшую почту мы пропраздновали на ярмарке в новой деревне и в четверг только догадались, что вчера была среда, между тем как каждый из нас давно ждал отхода почты, чтобы писать.

С этою почтою получил я несколько строк от Мишеля; он только пишет, что в Премухине все здоровы — и больше ни слова. Признаюсь, это очень мало удовлетворяет меня: не посылая ничего от Вас, надо бы приложить известие хоть немного подробнее, зато я разорвал его письмо, [которое] только что получил, и теперь не могу вспомнить, когда выезжает он в Премухино. Силы мои совершенно поправились, и я жду с нетерпением отставки, чтобы воспользоваться маленьким клочком лета, который мне остается, и истребить, если можно, корень этой болезни, которая зимою опять могла бы меня подарить еще один раз чем-нибудь интересным. Неверов напугал меня: говорит, что на днях одного оставного чиновника не пустили за границу — следовательно, есть особые правила, кого отпускать? Почем знать, может быть, я по летам, званию и пр. не подойду под них. (Простите эти пятна: с острогжскими чернилами нельзя обойтись без них). Впрочем, Вы сами знаете, что я человек смирный и такое недоверие ко мне было бы странно.

Белинский теперь с Ефремовым наслаждается серной водою и кавказскою природою. К той и другой нужно привыкнуть, чтобы не скучать. Имея настоящее понятие об этой стороне, теперь я бы наслаждался ею вдвое; я бы не искал более в ней того, что оставил за собою: лугов, рек, лесов; я бы ждал грустных, беспредельных степей, однообразных равнин, гор, не таких, какие представляются на декорациях, но во всей их грубости, заросших едва проходимою травою, уродливых и все-таки прекрасных, по крайней мере, в воспоминании. Воспоминание, если только оно привязано к настоящей жизни человека, если оно не относится к той эпохе, в которую

он сам был другой, составляет настоящее для человека, и чем раньше пришел он в то состояние, которое не может перемениться, тем полнее живет он, потому что в каждой минуте его сосредоточено все прошедшее вместе с доверчивым взглядом на будущность. Доверчивым — потому что от внутренней гармонии необходимо рождается вера в самом даже невыгодном положении, и отчаяние есть знак больной, раздранной противоречием души. Но я беспрестанно вдаюсь в резонерство. Представьте: я написал к Белинскому довольно большое письмо и, право, резонерства в нем больше, нежели на половину. Это, должно быть, ужасно скучно. Но я уж так устроен, что, как Осип Хлестакова, минуты не могу пробыть без рассуждения. Приготовляясь нынешний год быть в Италии, я выучился кое-как по-итальянски и теперь читаю очень интересный роман Манзони — «I promessi sposi»¹. Если бы я мог овладеть еще английским, то не признавал бы в Вас более никакого превосходства над собою.

Сию минуту мы отправляемся в деревню. Эту неделю мы провели на самой блистательной ярмарке в сельце Марке. Прощайте! Будьте здоровы, покойны, веселы и не забудьте, что Вы принадлежите к тайной божией полиции и что я отдан Вам под присмотр. Прощайте, — зовут! — Ваш Станкевич.

Скажите мое почтение Александру Михайловичу, маменьке и сестрицам.

74. Я. М. Неверову.

6 октября 1837. Карлсбад

[...] Я прочел роман Тика «Der junge Tischlermeister»². Он меня очень занимал: в нем много интересного, смешного, справедливого, хотя все это большею частью Schönseeligkeit,³ и здоровому чувству неприятно. Но заблуждения людские очень естественно представлены и в главной мысли есть верная сторо-

¹ «Обрученные» (ит.).

² «Молодой столяр» (нем.).

³ прекраснодушие (нем.).

на. Теперь взял читать итальянский роман: «Luisa Strozzi»¹, соч. Россини. В деревне я прочел: «I promessi sposi» Манзони — они очень мне понравились.

75. В. И., Е. И. и Н. И. Станкевичам

10 октября 1837. Карлсбад

Милый папенька, милая маменька и милый дяденька! Вот уж скоро две недели, как я живу в Карлсбаде, каждый день хожу на почту, спрашиваю, есть ли письма ко мне? и немец с улыбкою отвечает: «posch nicht»²... Третьего дня я обрадовался ужасно письму Неверова из Берлина: узнавши из моего, что я намерен зимовать в Берлине, он, как гоголевский майор Ковалев, пустился выплясывать с Грановским *pas de deux*. Они уж ищут мне квартиру и постараются так, чтобы стоять в одном доме, только в разных комнатах. Это нам будет и выгоднее и веселее. [...] Карлсбад похож теперь на дом, в котором недавно было разгулье на весь мир и который оставлен гостями. Если бы здесь была Любинька, она стала бы читать, со слезами на глазах, известную элегию Козлова: «Но уж огни погашены, гирлянды сняты со стены». [...]

Я думаю пробыть здесь до 20-го октября (т. е. до 8 по вашему), потом в Берлин. Во всяком случае прошу писать ко мне, адресуя на имя Неверова. Где бы я ни был, он перешлет письмо. [...]

Целую Ваши ручки, с сыновним уважением и преданностью остаюсь Вам покорный сын и племянник Николай Станкевич.

76. Я. М. Неверову

11 октября 1837. Карлсбад

Прошу извинить меня, почтенный друг Януарий, что часто беспокою тебя своим писанием. Никак не дождусь 20-го октября; не знаю, как добить это время. На днях надеюсь получить от тебя еще писульку.

¹ «Луиза Строщи» (ит.).

² «пока нет» (нем.).

Скажи, посоветуй, как мне быть с Мишелем. Видишь, в чем дело. Сестра его, Варвара, прошлый год вдруг начала упадать здоровьем и, наконец, очень расстроилась. Мишель видел это и решил принять меры. Он откровенно начал с нею говорить и сказал ей, что если ее тяготят отношения с мужем, она должна их прекратить. В самом деле: представь женщину с самыми высокими потребностями, которая должна унижаться пред человеком, которого она не любит и даже не уважает...

Мы с тобою давно не были на просторе, давно не беседовали свободно, в вольной сфере; с годами в наших понятиях сделалось много переворотов, которых мы не успели сообщить друг другу, запутанные глупыми житейскими обстоятельствами. Теперь настает для нас пора независимой жизни, жизни смирной, посвященной науке: отрадный период студентства, может быть, повторится [...] мы будем иметь время открыться друг другу вполне, обновить друг друга, и я начинаю этот период. Было время — время мистицизма в моей жизни, когда, по преданию, по недостойной любви к пошлому миру и спокойствию, я считал брак делом окончательным, сковывающим навсегда выбор сердца. Я отрекаюсь от этих идей. Если брак есть ошибка, то она должна быть исправлена, если человек должен страданием искупить свою ошибку, то он не должен сделаться животным.

Януарий! Мы опытные, даже скверно опытные. Мы слишком хорошо узнали скверную сторону жизни, может быть, многое утратили с этой опытностью — утратили святое негодование, спутника любви. Мы поклонялись чувственности — и в гадком виде. Не знаю, как для тебя — для меня эта эпоха теперь страшна. Если тогда мы не чувствовали большого неудовольствия, то это потому, что гадкие твари, которые служили нам средством к удовлетворению, невольно теряли в глазах наших свой позорный характер, и теперь даже, в минуты греха, ты забываешь, что у груди твоей лежит проданное тело. Минута пробуждения — гадка. Но все это еще ничего. Тем сноснее всякая интрижка, в которой есть что-то похожее на сочувствие. Что ж, если бы тебе пришлось связать судьбу свою с пошлым существом? У тебя

высокие идеи о жизни, святые понятия о любви — и что ж? Ты проводишь ночи с животным, которое потом назовешь матерью детей своих? И чему ты научишь детей? Как станешь им говорить о любви, которая есть венец жизни? Если даже жена твоя достойная женщина — беда, если нет любви. Ты профанируешь ее и себя — вы оба унижаетесь до животных.

Нет, мой Януарий! Человек есть житель земли, не чуждый физических потребностей, но он же есть и последнее высшее звено в цепи создания. Его сфера — дух, и все физически натуральное в нем должно быть согласно с духом. То, что в животных есть слепое побуждение, внешняя необходимость, в нем должно быть разумным духовным стремлением, необходимостью внутреннею. Отчего так скучно, гадко бывает после удовольствия *одной* плоти? всякого физического удовольствия? Оттого, что оно в противоречии с основою моей жизни, с духом. Чувственное соединение должно быть неразрывно с духовным (я не говорю про наши отступления — это медицинский вопрос; дело идет о соединении в продолжение всей жизни). Если я люблю женщину всю, как она есть, с ее понятиями, чувствами, наружным образом — я весь соединяюсь с ней — я не профанирую ее. Нет! Меня влечет к ней совокупная жажда природы и духа, я узнаю в ней себя, я в этом акте торжествую свое соединение с целым созданием, я прохожу все его степени — я не делаюсь животным. Я освящаю то, что было во мне животного, и даю ему смысл. Не любишь женщину — откажись на пороге церкви; страдание, самое ужасное, лучше этой жизни, потому что в страдании может быть святость, а в принужденном браке — грех и противоречие.

Это для мужчины, но представь женщину, которая не могла получить снисхождения к гадостям, которой душа оставалась неприкосновенна пороку, — эта женщина, по ложным идеям, выходит замуж, не зная, что значит быть замужем и чему она подвергается? Варвара признавалась брату, что она готова была на самоубийство... Вдруг этой женщине открываются глаза: не должна ли она ужаснуться своего положения? не должна ли бежать от этого ложа, на котором уничтожается ее человечество? Аминь,

Януарий! Женщина, физически, должна принадлежать одному мужчине — так пусть она останется отшельницей в жизни, или, если будет любить, никогда не соединится с предметом любви своей, но она спасет свое человечество. Если жизнь не полна, если наслаждение бегло и непрочное, значит — мы не так живем. В самом ужасном страдании духа должна быть полнота и сила, должно быть сознание, что он верен себе. Напрасно сбившийся с толку ищет забиться: он помнит, что он только забывается... Теперь — средство. Мишель хотел, чтоб она ехала совсем за границу. Отец отпускал ее для лечения, против настоящего намерения он восстал бы. С Дьяковым были ужасные истории. Миша писал мне, не могу ли я им достать 10 или 15 тысяч рублей, потому что ему нужно было провожать ее, да и на всякий случай, если родители попятятся. Потом писал, что они согласны. Мне трудно было говорить об этом с отцом, притом же я был в состоянии нравственной апатии и слабости, послал ему 2000 (из которых он 1600 должен заплатить долга) и писал, что если им нужно больше денег, я дам здесь или выпрошу у отца, что если не достанет в дороге, чтобы они писали мне в Берлин или в Карлсбад. Не знаю его дальнейших надежд. Не мудрено, что я и ему написал твой адрес фальшиво. Известий нет. Чему я подвергаю их своею слабостью! Попроси на почте, чтобы письма на твое и Грановского имя были задерживаемы до получения, несмотря на адрес, а то пропадут. [...] Твой Николай С. [...].

77. Я. М. Неверову

22 октября [1837]. Дрезден

4 часа и 20 минут пополудни. Не знаю, что прежде придет к тебе, мой добрый Януарий — это письмо или я? Наверное не мог я знать, сколько пробуду в Дрездене, только сегодня решился взять завтра место в дилижансе; если застану — поеду, если нет — напишу. Сегодня я не мог получить от банкира денег, а не получивши, не хочется брать билета. Я не видал половины здешних примечательностей, которые успею увидеть после, в расположении более нормальном.

Человек должен хвататься за ближайшее, за необходимое душе его — иначе осмотр будет для других, не для себя. Однако был в галерее и завтра пойду еще. Надобно сходить туда раза три, чтобы бегло осмотреть все картины.

Два слова о Мадонне. Я видел у Марьи Афанасьевны эстамп, по которому тотчас узнал ее. Сердце упало у меня — я почувствовал ту же минуту, что эта картина не для меня существует. Как мытарь, готов я был бить себя в грудь, поднимая бессмысленные глаза на эту святыню.

Пименов и Завьялов признают ее красавицей — но не более, ребенка называют сердитым; я, сколько могу судить, назову такого ребенка ложною мыслью — но об этом после. Я не признавал даже красоты в лице ее, даже земной красоты. Только что-то странное, что-то чуждое мне, непривычное видел я в чертах ее лица, в выражении глаз.

С досадою бессилия, охлажденный разными заботами, прозаически испытующим взглядом бродил я по полотну, и святая Катерина казалась мне лучше, ангелы интереснее. Я вперил глаза в лицо Мадонны, чтобы дать глазу время запутаться в оптический обман, превратить плоскость в выпуклости — что-то замелькало и исчезло. Я обратился к Корреджиевой «Ночи» — тоже непонятное лицо Богородицы, вперил глаза на младенца и стал следовать за светом, который исходит от него; взглянул еще раз на мать — и увидел мать, мать, полную блаженной радости... Но она сделалась мне только несколько понятнее... стал бродить глазами по стенам... вдруг знакомый образ обдает душу — Цецилия Дольче. Что же в ней волшебного, что чудесного, что так меня к ней приковывает? Моя поверхность, ложное фантастическое направление — этот образ понятнее мне своею тихою, серьезною прелестью. Я стал об этом думать и, не знаю, может быть, опять предубеждение, но мне показалось в ней что-то манерное; опять к Мадонне, и — как будто она сделала движение! Теперь только заметил я, как она прижалась к своему младенцу; в этой простой позе вся сила и святость материнской любви... Теперь и глаза ее получили для меня часть смысла.

Нет! Из того, что я не понял ее, я догадываюсь,

что Мадонна выше, нежели думал о ней Пименов. По дороге из Карлсбада случилось со мною маленькое приключение. Я было написал тебе об этом, но в этом письме такой сумбур, что ты можешь получить неверные идеи. Я расскажу все, а письмо возьму с собою и вручу тебе сам [...]

78. Станкевичам

26 октября 1837. Берлин

Милый папенька, милая маменька и милый дяденька! Странствие мое, наконец, окончилось благополучно; вчера я прибыл к месту назначения, в Берлин. Еще из Дрездена дал я знать Неверову, что намерен выехать 24 с эйльвагеном. Вчера приезжаем в Потсдам и останавливаемся у почтового двора: вдруг к окошку кареты подходит мужчина в длинном, теплом сюртуке — мне вообразился тотчас Фридрих Великий, о котором я думал, смотря на этот военный городок; но это был Януарий Михайлович, выехавший мне навстречу из Берлина — можете себе представить нашу радость. Мы тотчас заказали себе место в журнальке — ежедневном дилижансе, который ходит между Потсдамом и Дрезденом — сели пить чай и рассказывать друг другу наши похождения; рассказы продолжались и в дилижансе во всю дорогу и усыпляли ехавших с нами офицеров, на которых звуки русского языка иначе не могли действовать, как магнетически. Неверов успел побывать в Ганновере, постранствовать в горах Гарц и провести ночь на Броккене, знаменитой горе в немецких преданиях, в месте, где ведьмы и колдуны с незапамятных времен торжествуют свой сабат; букет цветов, собранных на вершине Броккена, и множество страшных повестей, пересказанных ему старым трактирщиком, вполне вознаградили его за это трудное странствие. В 9 часов вечера мы прибыли в город; мне была уже готова и вытоплена квартира в том же доме, где квартирует Неверов с Грановским, только в бельэтаже. Две комнаты, прекрасно меблированные, и третий, крошечный темный кабинет для спанья, составляют мое жилище, за которое я

плачу хозяину 20 талеров в месяц, т. е. 75 рублей. Не дешево; но дешевле и нельзя. Берлин один иностранный город, в котором содержание чрезвычайно дорого — в других можно жить ничем. Внизу помещаются Неверов и Грановский и платят за свою общую квартиру 18 талеров (67 р. 50). Моя дорожка за бельэтаж и потому, что мне хотелось жить непременно здесь. [...]

Берлин похож отчасти на Петербург. Улицы просторны, здания довольно красивы; но как-то все мало народа видишь на тротуаре. В Дрездене каждая улица уставлена столиками, лавочками, будочками, где продают шапки, дули, орехи, платки, мыло, книги, словом, всякую всячину; народ толкает вас под бока, странствующие музыканты стоят в кружок и рыпят на трубах какой-то марш, а заезжий шутикар угощает под вечер публику среди улицы волшебным фонарем. Здесь народ как будто посерьезнее; говорить много не любит. Даже извозчики фиакров не торгуются — цена положена — за 20 минут 5 грошей (около 80 коп.). Весь город живет самым аккуратным образом. Театр оканчивается в 10 часу, и в это время все ложится спать. Мне этот обычай особенно нравится, потому что совершенно согласен с предписанным мне образом жизни.

С 1 ноября намерен я посещать двух или трех профессоров здешнего университета. Это так немного, что Вам нечего бояться за мое здоровье; скорее всего мог бы я заболеть от праздности. [...]

Как ни приятно было мое путешествие, но я очень рад, что добрался до станции и могу пожить несколько месяцев на одном месте; как-то больше чувствуешь цену и стулу, на котором можно развалиться, и постели, в которой тихо засыпаешь, не думая, что фурман придет будить в 4 часа, и печке, перед которою можно сидеть и болтать с Неверовым и Грановским. [...] Кстати сообщить [...] известие о немецких театрах.

Первый из них удалось мне видеть в Кракове, где играла труппа, приехавшая на время из Олмюца; давали оперу «Ball-nacht»¹ Обера и «Цампу». Все почти поют и играют очень хорошо. Но забавнее всего была примадонна, которая до того забылась, что,

¹ «Бал-маскарад» (нем.).

во время арии своего жениха, вздумала ему подтягивать — эта наивность мне очень понравилась. В Праге я видел скучную оперу Мейербера: «Der Kreuzritter in Egypten»¹ и немецкую комедийку, которую играли превосходно, хоть бы в Удеревке. Вы, может быть, не знаете, дражайшие сестрицы, что такое немецкие комедии? Это нечто вроде нравственных повестей, которые вы сочиняете для образования ума и сердца Машинькиных детей, с тою разницею, что здесь нравоучительное перемешано с такими забавными немецкими сценами и остроумными выходками, что едва сидишь на стуле от смеха. Представьте, что в одной из комедий две модные девушки влюбляются в богатого лорда за его богатство, а он предпочитает им крестьянскую образованную девушку. Все эти сентиментальности приправлены, впрочем, множеством смешных выходок. В Карлсбаде и Теплице, с тех пор как уехали летние актеры, играютс я каждый день драмы и трагедии, до которых немецкие мещанки большие охотницы; больше одного акта я ни разу в них не высиживал — тут-то мимика, тут-то декламация! В Дрездене при мне играли две нравоучительные комедии и маленькую оперку. Признаюсь, только один Щепкин из русских, известных мне, актеров может с честью выдержать сравнение с дрезденскими (даже превзойти их), но другие — нигде не годятся. [...]. С сыновним уважением и преданностью остаюсь покорный сын и племянник Николай Станкевич.

**79. А. В. и И. В. Станкевичам, И. П. Ключникову,
В. Г. Белинскому и М. А. Бакунину**

29 октября 1837. Берлин

Берлин, столичный город Прусского Королевства [...]

Грановский советовал мне подле облатки поставить знак восклицания, на что я не согласился [...] Он любит эффекты, а я их ненавижу — я добросовестен, как теленок. Но это отступление от главной

¹ «Крестоносец в Египте» (нем.).

материи. Слушайте! Слушай ты, маркиз XVIII-го столетия, до того преданный развлечению, что до сих пор не почтил ни одною строкою брата, который находится в самой неприятной неизвестности обо всем, что только есть для него интересного в России. Слушай и ты, юноша с кудрявою головою, амур-ревматик, достойный воспитанник Бодянского, истинный член компании братьев — Станкевичей, любезнейший Александр Владимирович. Внимайте все, некогда собиравшиеся к круглому столу в доме Лаптевой за самоваром высказывать все события прекрасных душ ваших — Иван Осторожный, опускавший гардины, Виссарион Неистовый, посмеивавшийся этим мудрым мерам; ты, Михаил — подражатель Архангела, так горько плачущий, что черт перестал странствовать по земле и что тебе не в кого бросить копье свое и не на ком потешить бранную десницу — внимайте и вы, которых имена не для чего писать, потому что эти пустые звуки займут много места, но которые делили с нами душу, споры, веселье и скуку, — внимайте! — я в Берлине! [...] Что, если б я был в Берлине в начале 1836 года? Хорошо, что не так случилось. Я бы сошел с ума от радости, я бы сошел с ума от новости тех понятий, которые бы мне сообщали.

Вследствие законов необходимости в жизни моей последовало какое-то шуру-муру, которое я уж несколько раз сравнивал с плясанием св. Исаакия — и в самом деле, если бы Грановский и Неверов знали Отче наш, то им пришлось бы переучивать меня чтению оногo, и я, как харьковский магистр, на вопрос их: знаешь ли молитву господню? — должен бы был отвечать: «нет» и слезно плакать. Похожий на это перерыв последовал в моей жизни, мое маленькое я распалось на две части, соединенные в эмпирическом единстве. Николая Владимировича, безусловно, нет; есть Николай Владимирович до 36-го и Н. В. после 36-го года [...]

Я приехал сюда 25-го октября по западному счислению. В Потсдаме, за 4 мили до Берлина, явилось перед окнами нашего эйльвагена странное лицо, которое своим воинственным выражением заставило меня подумать, что тень Фридриха Великого пришла взглянуть на свой вахтпарад или едет в Берлин учить-

ся гегелевской философии. Но скоро я увидел, что это лицо нового мира. Длинный черный скюртук охватывал его угловатые формы; на белом бледном лице резко выставлялись синие очки; щетинистые усы защищали верхнюю губу от нападений табака, который по временам сыпался из величественного носа. Всматриваюсь — Неверов! Я остался в Потсдаме. Мы напились чаю, взяли место в *journalière*¹ и отправились в Берлин. Ночью приближался я к этому наружно прозаическому городу и благодарил темноту, скрывавшую от меня скучные равнины, которые, должно быть, очень недавно море уступило философии. Они составляют ту грусть, ту *Negativität*², которая лежит между младенческим раем первого человека и торжественным примирением последующих. Саксония — ворота этого рая. Солдат у шлагбаума, с пламенным мечом, загородил возврат туда до будущего года. Дорогою Неверов рассказал мне, как он с корабля вздумал проехаться в Ганновер, посетить Гарц и ночевать на Броккене, откуда он привез страшные рассказы. И здесь он остался верен себе: первое, что поразило его на земле германской, было место, освященное поэзией и народными преданиями. Квартира мне была уж готова в одном доме с Неверовым и Грановским, в бельэтаже. Стены украшены обоями, пол устлан коврами, красивая мебель — все чисто, опрятно, веселит глаза. Я с удовольствием расположился здесь и вместе с Грановским начертал план наших занятий, который получит силу свою с 1-го ноября. Лекции начнутся не прежде, как с половины... я поговорю теперь о том, что мы намерены делать.

Нынешний семестр профессор Вердер и проф. Ранке преимущественно займут нас с Грановским. Несколько посещений решат, можно ли и нужно ли взять еще кого-нибудь. Вердер читает логику и метафизику (так называют популярно гегелевскую логику) по утрам, а после обеда историю философии от Декарта. Ранке новейшую историю, начиная с XVIII столетия. Чтобы подготовиться к первому, я купил «Пропедевтику» Габлера — прочетши ее, увижу, не нужно ли мне будет *privatissime*³ прослушать

¹ Вид экипажа. Буквально: ежедневный (*фр.*).

² негативность (*нем.*).

³ частным образом (*лат.*).

феноменологию, потому что на веру я ничего не принимаю. Несколько страниц из «Пропедевтики», несколько из Гегеля, опять пробудили во мне то *unentwöhntes Sehnen*¹, про которое я вам говорил в начале письма. Опять полное доверие к Гегелю,— опять стремление к истине [...] Содержание ничтожно, ложно без формы, составляет с нею одно; оно не истинно, пока не в истинной форме; в наше время, на нашей точке, нет удовлетворений, нет полной жизни без этой формы.

Другие и в наш век могут удовольствоваться верою (разумею не историческую); я не могу и некоторые из вас не могут. Мы так далеко зашли, противоречие развилось слишком сильно, струны на душе порвутся, если им не дать этого строя; нет исхода, нет спасения. Если мне теперь хуже, нежели было прежде, то я должен благословлять судьбу свою — это указание на другую жизнь, в которую я еще не перенесся совершенно; это значит, я был прежде не лучше, не бессознательнее. Если б мои обстоятельства были и другие, все равно в других случилось бы тоже. И не думайте, чтобы одних результатов было довольно, чтоб сделать требования нормальными, надобно провести мысль через все мытарства диалектики — я в этом убежден и радуюсь. [...]

В самом деле, человек тогда только узнает, чего ему надобно, когда узнает вполне, что он такое, и согласится, примет это значение, насладится им. Вера в истинные результаты годится только для того, кто в ней воспитан и кому нечего разрушать в себе. Если найду полезным, пришлю Вам «Пропедевтику». Габлер читает «Энциклопедию». Говорят, он утомительно подробен, кропотлив — старик, долго бывший учителем гимназии. Вердер молод, пылок, охотно советует, к нему можно прийти на дом и спрашивать. Если он не удовлетворит меня — успею обратиться к другому. Часы Габлера сходятся с Ранке. Впрочем, мы еще увидим. Ганс читает философию истории: он издал гегелеву, и, верно, мы нового от него ничего не услышим; впрочем, хотим его госпитировать. Вам покажется странно, что мы, добившись Берлина, не пользуемся всеми его сокровищами, но Вердер и Ран-

¹ непривычное влечение (нем.).

ке — два таких сокровища, над которыми нам придется работать до кровавого пота, потому что заниматься — не значит ходить только на лекции. Представьте, что нам придется думать над логикою, читать Декарта, Лейбница, Фихте и проч. А над новою историей, читать источники — безделица? Признаюсь — бог привел меня в Берлин — что б я делал в Италии? [...]

80. В. А. Дьяковой

3 ноября [1837]. Берлин

Благодарю Вас. Вы сняли у меня тяжелое бремя с души. Я не сделался лучше от того, что Вы хорошо обо мне думаете, но Ваше внимание, Ваше участие призывает невольно меня в лучшую сферу, дает почувствовать всю прелесть, всю высоту той жизни, из которой долго считал я себя изгнанником; Вы, в своей святости, может быть, не могли понять меня совершенно; может быть, женщина и не должна понимать всего, что происходит в иных душах — Вы решились утешить меня названием друга: оно мне дорого, свято; оно одно подарило мне минуту, каких я уж не помню. Вы сравниваете мою ошибку с Вашею, и с новым убеждением признаете себя виновнее. Вы позволите мне с такою же искренностью открыть Вам мою душу — мне было бы больно, если б Вы имели обо мне неверное понятие, точно так же больно, как и потерять Ваше уважение. А Ваша чистота, Ваша религия дают мне бодрость прямо говорить Вам все, что я думаю о Вашем положении.

Не придавайте высокого значения моей ошибке: я имею добрых друзей, которые готовы сказать, что мои потребности слишком обширны, чтобы могли удовлетвориться, слишком сильны, чтобы оставить меня в покое. Неправда! Моя голова была сбита с толку, душа пуста и ослаблена. Не имея в себе той полноты жизни, которая бодро встречает все обстоятельства и создает себе рай из страданий, я искал жизни вне себя, ждал счастья с неба, хотел чуда. Я не имел определенного желания и потому удовлетворять было нечего; я хотел перерождения, которое бы мне дало самые потребности... И такая слабая, убитая душа

могла любить? Отделенная от мира — *schöne Seele*¹ — она создавала себе бледные образы и потом искала им подобия между людьми... Встреча, ошибки, противоречие, кризис — были необходимы. Я понял свое положение, свое прежнее ничтожество, не заменивши его ничем; я проклял эту *Schönseeligkeit*² и не сошелся с миром; от этого — сухая борьба, отнявшая у меня столько времени и сил — и теперь еще не могу я освободиться от этого рабского сомнения, от этих мучительных мыслей, которые вяло и мучительно работают в голове, от этих планов, как поправить несколько фальшивых поступков, которые сделал я под влиянием слабости... Такое страдание не перерождает души. Но оно должно было придти. Если б я пропал навсегда — значит, вне призраков я не жил и потерял способность жить. Вновь оживу я только в настоящей жизни, чего и надеюсь.

Вы, увлеченные ложною мыслию, решились пожертвовать для чужого спокойствия счастьем целой жизни; ясно ли Вы сознавали цену этой жертвы, нет ли — но Вы не знали, что Вы не вправе были жертвовать. Искренно говорю Вам, что Вы святы перед судом божием — тем не менее поступок Ваш был произволен, и душа должна была терзаться, потому что ложные понятия не могли победить ее чистой натуры, развитой с самого малолетства любовью и привычкою любви — страшное противоречие раздирало Вашу душу — в Вашем страдании должно было также быть много прозаического, сухого, раздирающего, способного лишить ума — завеса спала, и чего Вам краснеть? чего отчаиваться? Вам нечего искуплять, Вам остается только простить тех, которые не знали, что делали, и пожалеть, что они не могут ощутить того блаженства, которое наполняет Вашу душу при всех внешних бедствиях. Смело говорю Вам: женщина, даже по слабости впадшая в ошибки, более уже свята с той минуты, когда их отвергла. А та, которая с разрушительным страданием пожертвовала своими лучшими мечтами, которая отказывалась от своего блаженства, увлекалась мыслию долга и потом решилась освободиться от этих оков с полным сознанием — я ничего не знаю чище и святее — никакой

¹ прекрасная душа (нем.).

² прекраснодушие (нем.).

поступок сам по себе не может запятнать человека — не поступки составляют дух; чист и свят должен быть их источник. То, что было ошибка, чуждый нарост, — отпадает прочь, когда дух вошел в свою сферу — то не мое. [...] Я прямо говорил с Вами — и не боюсь. Вы слишком высоки для приличий! То, что я говорил Вам, мне кажется несомненно. Не думайте, чтоб я старался оправдать все это — нет, повторяю Вам: по моим понятиям, Вы святы в Вашем положении, и душа Ваша должна быть свободна. Будьте снисходительны к людям, которые перед Вами виноваты: они несчастнее Вас; терпите пока, что нужно терпеть для будущего, для полного освобождения — пусть оно совершится не так скоро, но прочно и тихо. Наслаждайтесь Вашим сыном и позвольте мне надеяться, что Вы не будете поминать меня лихом, — Н. Станкевич.

81. А. П. Ефремову

[23 ноября 1837. Берлин]

Любезный Ефремов! [...]

Мы ведем самую тихую жизнь в Берлине. Грановский старается мне всеми мерами объяснить логику и не столько успевает в этом словами, сколько пальцами. Это прекрасный способ. Неверов занимается собиранием материалов для истории орденов; я занимаюсь составлением лекций из истории новой философии и сегодня примусь с заботливостью и старанием за Декарта. Слава богу, из введения кой-как выбились. Наш профессор Вердер молод, хорош собою — несколько похож на тебя — и вообще человек хороший. Мы слушаем еще Ранке, к которому я сегодня за дурною погодою не пошел; его лекции обещался составить Грановский, что мне очень приятно. Привыкаю к работе и аккуратности, а что касается до бережливости, то ей, ей! еще никогда я так не жил. — деньги записываю ежедневно. Видишь ли, что меня стоит погладить по головке. Приезжай к нам и ты умен будешь. [...]

82. Л. А. Бакуниной

16 декабря 1837. Берлин

Целый месяц не писал к Вам; кроме надежды отвечать на новое письмо из России, меня волновало беспокойство, о котором, я думаю, знает Мишель и скажет Вам, если знает. Оно не успокоится совершенно, пока я не получу от него известий. Не знаю, что стало с моими друзьями: или они не хотят знать меня, или боятся разорить на несколько грошей.

Мы ведем жизнь по-прежнему: я больше привык к ней, хоть не могу сказать, чтоб стал веселее; привычка эта заключается большею частию в том, что я стал запира́ть дверь в своей комнате, не оставляя в ней ключа и не опаздываю на лекции. Мы трое составляем особенный отдел между здешними русскими и не входим с ними в тесные связи. Признаться по правде, и не с кем: наши педагоги прежалкий народ. Между немцами также я не имею знакомых, Грановский — давний домосед, Неверов только посещает Мендельсонова зятя, у которого даются концерты, какую-то *Fräulein von Solmar*, которая поит его чаем, и здешнюю литературную знаменитость Варнгагена фон Энзе, большого охотника писать биографии. Из этих трех мест доходят до нас идеи художественные, литературные, общественные, а наша жизнь разделена между университетом и театром. Я более познакомился с молодым профессором Вердером и начал на днях брать у него часы приватно. Он с большим жаром занимается моим образованием, терпеливо слушает мои нелепые возражения и старается меня вразумить всячески; если он не успеет, виновата решительно одна моя голова или то во мне, что ее сбивает с толку. Он человек с душою: я с каждым днем более убеждаюсь в этом. С начала наших занятий он принял во мне большое участие, жалел, что я не останусь надолго в Берлине, но, услышавши, что я болен, заклинал беречь себя и оставить все занятия [...] Моя докучливая пытливость внушила ему обо мне, по крайней мере, одно доброе мнение: что я сам хочу думать — это он замечал и в Грановском, и потому сознался, что до сих пор он увлекался общим мнением о русских, что они способны только одеваться в чужое образование — а теперь видит самостоя-

тельные мысли. Я благодарил его за комплимент как только мог, по-немецки; впрочем, я так сделался бестолков, что не думаю надолго поддержать честь своего отечества. Я долго думал, что здесь вовсе не будет зимы, но вот уж дня три, как выпал небольшой снег, морозит, небо ясно. Я после обеда до ночи решительно не могу ни за что приняться, брожу [...] слушаю, как трещит снег [...]. Я люблю, когда заходит солнце, и еще засветло показываются фонари в магазинах — это делает странный эффект. Старая привычка — ожидание чудес — не уступает уму до тех пор, пока я не войду в свою комнату и не удостоверюсь, что все эти ожидания должны окончиться на этот день логикою, чаем и сном, в котором бывают чуда всего более. Иногда так все хорошо расположишь в голове, все идет, как хочется, иногда страшно, иногда вообразишь себе что-нибудь такое в России, что бежишь домой узнать, нет ли письма и потом принужден бываешь утешиться тем же, чем напугался, — фантазиями. Но все эти причуды мгновенны и становятся реже, потому что я бегу от них — за делом голова светлее, больше твердости, больше целости в душе. Другая помощь — театр, музыка. На днях давали новую оперу Спонтини «Агнесса Гогенштауфен». Грому много, декорации великолепные, музыка редко берет за душу — впрочем, все-таки поддерживает приятное расположение. [...]

83. А. В. и И. В. Станкевичам

10 февраля 1838. Берлин

Сегодня получил я ваши письма, любезные братья! [...] Я живу в Берлине по-прежнему очень приятно, не совсем только покоен насчет Руси. От Миши давно нет писем, Ефремов не отвечает мне на то, которое я писал к нему; не знаю, получил ли. Что такое с Дядьковским? Напишите мне, ради бога. Что повредило ему глаз? Как так писать: «окривел» — не знаешь, шутка это или правда. Театр посещается по-прежнему. Это великая утеха. Мы с Вердером иногда вместо философии целый час беседуем, кто как играл. [...] Мое здоровье в порядке; Вердер хлопочет

очень и о физическом моем благосостоянии. Вояж мне был очень полезен, и я ожидаю от будущего еще более. Надобно восстановить себя хорошенько. А вы, юношество, берегитесь! Больше интересов душевных, больше энергии, а то праздное, изнеженное воображение берет верх над нами, губит нас нравственно и физически. [...]

Но надо вам дать отчет о театре. Папенька, кажется, находит легкомысленным, что я писал об этом сестрам. [...] У нас думают, что нет никакой возможности соединить любовь к искусству с положительными занятиями, а я теперь набрал брошюрок о свекловичном сахаре. Я основываю кой-какие планы деревенской жизни и мне надо будет, сколько могу понять, обратить внимание на подобные вещи.

Но к делу: здесь давали недавно «Ифигению» Глюка. Чудесная опера! Такая чистая, простая музыка! Гото замечает, что у Глюка господствуют те же интересы, как у греков — братская любовь, религиозность и т. п., хотя Глюк чувствует глубже грека. У него нет нигде той любви (т. е. к женщине), которая есть чадо новых времен, чадо, которое, впрочем, ужасно изуродовалось капризностью новых фантазий. Это — верно.

Хоры, арии и высокие речитативы — все превосходно. [...] «Норму» недавно стали давать на нашем (королевском) театре. [...] Музыка итальянская, не глубокая, но иногда полная жару, поджигающая до того, что на месте сидеть нельзя. Первый хор, так незначительный на фортепьяно, в пении, с оркестром делает *furore*. Его заставляют всегда повторять. Куча басов грозит Риму погибелью — так бы встал да и пошел. Хорошо, что Константина взята, а то Грановского ни за что бы не удержать, [...].

84. Станкевичам

25 февраля 1838. Берлин.

[...] М-г и т-те Фроловы доставили нам своим приездом в Берлин много удовольствия: они оба очень образованные люди, а она — женщина с редким умом. Русские и иностранцы дорожат ее знаком-

ством. Здесь есть некто (в Германии он не некто, а человек очень известный) Варнгаген фон Энзе, старичок, бывший когда-то посланником в Штутгарте, который не знает ей цены: он был женат на знаменитой Рашели, которая обратила внимание всей Европы своим необыкновенным умом; по смерти ее он сделался слаб, подвержен болезням, но, несмотря на это, очень любезен в обществе, любит быть в кругу женщин и м-ме Фролова для него теперь утешение: [...]

85. Л. А. Бакуниной

8 марта 1838. Берлин

Вчера получил я еще письмо от Вас. Наконец рука Ваша несколько укрепилась, поэтому я начинаю верить, что Вы в самом деле оправились, но Александра Александровна приписывает, что Вам только лучше, а это еще далеко от того, чтобы быть в полной мере утешительным! Но, бог поможет! Теперь настает тепло: весна действует хорошо на физические силы и на душу. Берегитесь только, ради бога, простуды. Я в России непременно заболел на несколько дней во время этого перехода от стужи к теплу, который имеет в себе особенную прелесть. Я думаю, она происходит от воспоминаний детства: бывало, ставишь мельнички на канавах, пропускаешь воду, смотришь, как идет река, как начинает прилетать дичь — вся будущность, счастливая будущность прогулок по лесу, по лугу, видится в перспективе — и эти ожидания придают какую-то таинственную прелесть настоящему. Гёте жаловался, что на него в Италии незначительные, но знакомые предметы действовали больше, нежели прекрасное, которое он видел в первый раз. Но такому человеку стоило сознать в себе какую-нибудь вредную особенность, чтобы она у него пропала, — не то с нами. Сколько явлений в природе, сколько прекрасной музыки нравится нам по воспоминанию. Иногда так наслаждаешься прекрасным днем и — тотчас замечаешь, что за этим наслаждением прячется память чего-нибудь, ожидание чего-нибудь. Человек есть полный мир, в нем все срослось, эта смесь удовольствий не имеет ничего дурного — но, при испорченной немножко натуре (какова моя), эта

смесь впечатлений делается источником тех Einfälle, die über mich manchmal schrecklich mächtig werden und worin mein kleines selbst sich ganz verliert¹. Они увеличивают во мне природную слабость духа — когда хотите, не столько природную, сколько благоприобретенную воспитанием, которую я преодолеваю, сколько могу. Но эта работа, которая рождается всегда вследствие рассуждения о себе, оставляет, в свою очередь, нехорошие следы на душе — видно, что душа эта заплатана, зашита белыми нитками. Переродить себя — кажется, это должно быть возможно для всякого, кто этого желает. Но большая или меньшая возможность зависит от большей или меньшей степени желания, а эта степень опять от целого бытия человека. Мы, воспитывающие себя, никогда не будем в состоянии насладиться тем блаженством, каким наслаждается поколение, воспитанное в любви и свободе. Вам это непонятно? В Вашей душе всегда божество — иначе быть не может. То, что кажется Вам злом в Вас, создано Вашим размышлением. Вся Ваша жизнь течет чисто и свято, и если ее возмущает какая-нибудь борьба, то это — борьба любви и любви, в ней нет ни апатии, ни ропота, ни Verdrieszlichkeit², стало быть, бог в ней всегда. А я — я говорю правду без всякой ложной скромности, которую ненавижу — я не таков. Но будет об этом! Кроме того, что все это может поправиться, зачем распространяться о душевных мелочах — такая исповедь наводит иногда тоску.

Мое здоровье очень порядочно. До конца или до половины апреля останусь еще здесь, потом поеду в Дрезден. М-те Фролова мне дает много рекомендательных писем к людям, которые частью сами примечательны, частью могут познакомить меня с примечательностями. Оттуда в Карлсбад. Мне хочется приучиться к простому и беспристрастному взгляду на вещи: поверьте, один и тот же предмет кажется нам иначе под влиянием разных обстоятельств. [...]
Votre Stankévitsch³.

¹ выдумок, которые иногда приобретают ужасную власть над мною и в которых мое крошечное личное я совсем теряется (нем.).

² угрюмости (нем.).

³ Ваш Станкевич (фр.).

8 марта [1838]. Берлин

[...] Милый Саша. Недавно получил я от тебя из Харькова письмо; благодарю тебя за его простоту и прямизну, благодарю тебя за доверенность ко мне. Как сходны люди, как сходны их мысли, их развитие! Особенно в одном семействе — в каждом из нас, в братьях и сестрах, при всем различии характеров и темпераментов, я непременно нахожу себя, свое, даже в самых незначащих чертах. Читая письмо твое, я живо представлял себе свою первую юность — те же потребности, то же чувство недостатка, чувство противоречия. Но разница одна: у тебя эти чувства наступили раньше. В 17 лет я еще бродил в неопределенности; если думал о жизни и о своем назначении, то еще больше думал о своих стихах и их внешней участи. Пора сознания наступила годом позже, но и тут разница: для тебя уже многое решено, что мне было вопросом. Многое теперь вопрос для нас обоих, иное мне кажется решено, над чем ты еще задумываешься. Тебе странно, что ты живешь в будущем, что настоящее тебе кажется приготовлением. Это объяснимо многими причинами. Во-первых, 17 лет есть такая пора жизни, когда перспективы и надежды невольно расстилаются перед глазами, манят тебя вдаль, хоть бы ты от них отказывался, бежал, — да такие отказы только усилят это невольное стремление. Одно, чего бы я желал к этому — побольше доверенности к себе! Притом, чтобы наслаждаться настоящим не как животное, надобно его расширить, надобно заключить в нем прошедшее и будущее, надобно прочное сознание своей духовной самостоятельности, которая равна себе вчера и сегодня, — словом, надобно духовное развитие, которого ты не мог еще вполне достигнуть, которого достигнуть я, может быть, мог бы уж, но еще не достиг. Даже все маленькие привязанности, составляющие украшение этой эпохи, в связи с лучшею частью человека: странно бегать от них, но надо, чтоб они были просты и здоровы, не надо искать и выдумывать их для себя, чтоб после наслаждаться этим искусственным напряжением души; не надо во всякой девочке, оказавшей к тебе склонность и понравившейся тебе, видеть по-

ловину души, не надо развивать в себе этого слабого чувства, которое не дает бескорыстно радоваться и наслаждаться, которое все, что только однажды повеселило сердце, хочет упрочить за собою и находит удовольствие потом не в самом предмете, не в его достоинствах, а в том, что он *мой*, что я пользуюсь предпочтением *сей девицы* и т. п. Но полно об этом! Старухи и старики обыкновенно дают наставления, которые нужны были только для них. Потом: ты думаешь, что, м[ожет] быть, жизнь, а не наука — твое назначение. Это смешанные понятия, душа моя. Что ж такое жизнь? Человеческая жизнь есть разумная деятельность и вытекающее оттуда наслаждение, любовь. В наше время нельзя быть деятельным без сведений, да своя пустота наскучит и тебе самому. Главное дело: несоответствие занятий твоим потребностям. Это я понимаю. Полное цельное чувство не может найти себе пищи в годах и именах, в склонениях и спряжениях. [...] Если ты отдашься сухим занятиям вполне, от своих потребностей, то они надоедят тебе, ты мало успеешь и будешь скучать и досадовать. Умей разделить время, и все пойдет своим порядком. Мне все жаль, что ты не будешь слышать в Москве Грановского. И вообще там университет улучшается, а Грановский мог бы тебе еще всегда помочь советами на счет занятий. [...]

Что тебе сказать о себе и о наших знакомых? [...] Лучшие наши знакомые и друзья здесь — Фроловы; муж и жена. У них вполне отдыхаешь по вечерам. [...] Прощай пока! Будь здоров и бодр и пиши ко мне. Твой брат Николай Станкевич.

87. Т. Н. Грановскому

12 мая 1838. Дрезден

Тимофей мой, Тимофей,
Голосистый Тимофей!
Чудеса ты все творишь —
Нас ты со смеху моришь!

Впрочем, это подражание Ключникова стихам: «Сравнение Белинского с Аполлоном».

Аполлон мой, Аполлон,
Аполлон мой Бельведерский!

Виссарион мой, Виссарион,
Виссарион мой, вельми дерзкий!

А вот еще мои стихи. Последние краткие слова о Гегеле, залитые кофеем и слезами, попадают мне в руки, и я говорю Неверову:

Чудо-юдо! Длинный глист!
Посмотри на этот лист:
Он написан был при даме
Мной за фрюштиком, в Потсдаме.
Лист лежит передо мной,
А ее уж нет со мной!

Зачем же нет? И даже не пишет!?! Я однако написал к ней! [...] Хотелось бы увидеть ее!

Схватить ее, прижать ее,
Лобзать ее, лобзать —
И, умирая, с уст ее
Еще лобзанья рвать!
(Веневит[инова], не мои).

А между тем, душа моя, «атомам, которые солнце связало на радость и горе», а бог назвал Николаем Владимировичем, даются толчки да толчки. Вчера получил письмо от Мишеля, в котором он, уверяя меня в любви своей, видит, что я тягочусь его отношениями, и просит не заботиться об нем, словом, объявляет мне развод; он прав, что так меня понимает. Из моих арифметических к нему писем он не мог видеть дружбы, и, как благородный человек, без всякого Grimm¹ объявляет мне, что ему было бы тяжело, если б я продолжал хлопотать об нем. Впрочем, кажется, Варвара приедет сюда, потом другое, от него же, с известием, что сестра все нездорова, не весела... и письма сестер к нему, раздирающие сердце. Не знаю, как прошел слух о возвращении моем осенью; они просят, чтоб я не приезжал и, кажется, сказали все отцу и матери... Здесь едва ли что остается мне делать. Наконец, сегодня — письмо от отца, voll Bitterkeit und Vorwürfen², обещает не присылать денег, ругает Мишеля на чем свет стоит, просит не упоминать его имя, если я хочу, чтобы он

¹ гнева (нем.).

² полное горьких упреков (нем.).

читал мои письма, советует отказаться от Бакуниных, словом — Donner und Blitz¹. Из Москвы последнее письмо было совсем другого рода; сестра прибавляет, что он отчаивается за меня в душе своей... Разумеется, что мне это тяжелее всего за него; он боится за мою будущность как нельзя больше. Я перед этим уж отдал было письмо на почту, в котором откровенно говорил ему об моих намерениях на счет Бакуниной, объяснял ему все дело (т. е. насчет Люб[ови] Алекс[андровны]), потом даже просил, в случае если нуждается Мишель, дать ему 500 или 1000 рублей, но, получив письмо, тотчас же воротил его — а то сделало бы эффект! Теперь напишу о деле, но в другом тоне, постараюсь всячески утешить его, а между тем надо уверить его, что я отказываюсь от Бакуниной совсем по другим причинам. Я думаю, его больше подожгло то, что я все деньги роздал, а теперь еще прошу. Обещает ничего не присылать, а я с большим достоинством еще попрошу. А как он, я думаю, в доме навел на всех тоску! Я боюсь больше всего за него: он добр и любит нас до бесконечности — надобно быть слишком огорчену, чтоб написать так! Всеми мерами постараюсь его успокоить! Теперь он должен быть уж в Петербурге! [...] Н. С.

88. Л. А. Бакуниной

20 мая 1838. Лейпциг

Как давно я к Вам не писал! Вы не можете себе представить, что такое приготовления к выезду (дни, которыми они наполнялись, Гёте вычеркивал из жизни), что такое двухдневное пребывание в каком-нибудь городке, где лонлакей беспрестанно надоедает примечательностями, которые должно смотреть и которые сушат душу. В Дрездене картинная галерея, собрание антиков — вот главные примечательности, которыми можно наслаждаться. [...]

Нам пишут теперь Фроловы: если б Вы знали, какие это редкие люди! Как я люблю его чисто христианскую кротость, святость души, готовность на доб-

¹ гром и молния (нем.).

ро, горячее участие ко всякому, в ком он видит искру божью, хоть бы она завалена была кучею пепла! И это живое, сильное негодование противу низости, никогда не разрушающее его гармонии, но и никогда не одолимое неумение торговаться с правдою! Он похож несколько характером на другого нашего товарища, — Грановского, хотя этот немного в другом роде: больше юности, больше кипения, но такая беспредельная любовь в душе, для которой нет ничего тяжелого, никакой жертвы! Знать таких людей, право, большое счастье в жизни, а особенно быть с ними в дружеских сношениях. Прибавьте к этому хохлацкую натуру Грановского: выехавши из Берлина, он до того разгрузился по нас в Дрездене, что хотел приехать туда из Праги, когда мы там будем... Насилу уговорили отложить свидание до общего съезда в Мюнхене. Впрочем, что тут удивительного: все, что есть высокого, святого в мире, т. е. самый мир в его целости, тогда получает истинную цену, истинный смысл, когда живешь с людьми, которые также им наслаждаются. [...] В Лейпциге застали мы, наконец, знаменитую Шредер-Девриен и видели ее сначала в «Весталке», потом в «Гугенотах». Она была превосходна, особенно в последних. В ней, наконец, осуществляется мой идеал актрисы и певицы — сколько истины, силы! Тут так охотно прощаешь все недостатки. [...] Ваш Н. Станкевич.

89. Станкевичам

23 мая 1838. Веймар

Милые сестры! Вот Вам домик с зелеными решетчатыми ставнями, покрытый черепицею, домик, в котором жил Шиллер. На другом листке вы видели, верно, дом Гёте. Эти люди собрались в Веймаре около великого герцога, который любил их от всей души. Место приятное, городок чистый, небольшой, тих, как будто уездный — между тем соединяет все удобства столицы. Здешний театр был тогда едва ли не лучший в Европе. В Иене, мили две отсюда, жили также ученые и умные люди — все это в тесном кружку. Они вели блаженную жизнь. Теперь путе-

шественники смотрят только на дома великих людей. Мы имели рекомендацию к Frau von Goethe¹. Вчера мы провели вечер у нее — это вдова Гётева сына; она уж не молода, и сын ее взрослый малый, страстный музыкант, который учится у Мендельсона-Бартольди. Его не было — он в Штеттине. [...] Вечер прошел довольно приятно в разговорах о новой немецкой литературе, музыке, и, наконец, о певицах; лучшую из немецких слышали мы недавно в Лейпциге — это m-me Schröder-Devrient². При нас давали «Гугенотов», она играла Валентину. Голос ее и игра очаровательны. Я был очень рад, что здесь ей отдавали справедливость. Она уж не очень молода — лет 35, но на сцене хороша. В ее лице всегда истинное выражение, без гримас. Сегодня утром посетили мы гробы Шиллера и Гёте: они стоят в фамильной могиле герцогов. Над гробами часовня; из нее ход в могилу — здесь стоят они; на каждом лавровый венок и надпись: Schiller, Goethe³. [...] Но главное, что здесь нас утешило — это внутренность Гётева жилища. Какая богатая интересами жизни! Тут мы нашли множество слепков и статуй, множество рисунков, медалей, минералогическое собрание — он все знал, всем занимался. Но интереснее всего его кабинет, куда он пускал только друзей, и куда баварский король иначе не мог попасть, как обманом: он притворился, что у него идет кровь из носу, и прибежал сюда. Тут лежит манускрипт его «Римских элегий» — видны все пометки, поправки; манускрипт «Гёца фон-Берлихинген», далее, в маленьком кабинете, последнее его лекарство и кресло, на котором он умер. Еще примечательнее: бокал — большой, серебряный, присланный ему из Франкфурта, и золотой венок оттуда же. Франкфурт — место его рождения. [...] Брат ваш Н. Станкевич.

¹ госпоже Гёте (нем.).

² г-жа Шредер-Девриент (нем.).

³ Шиллер, Гёте (нем.).

24 июня 1838. Эмс

Во Франкфурте на Майне я получил письмо Ваше вместе с премухинскими цветами. Резеда сохранила совершенно свой запах, несмотря на дальнюю дорогу, и теперь наполняет им мое бюро.

Несколько дней не мог я Вам никак отвечать: полчаса чтения или письма делали мне приливы крови к голове — обыкновенные кризы при начале питья — теперь они несколько успокоились, и я могу писать и читать часа два в день — между утренним питьем вод и ванною.

Остальное время, волею или неволею, я должен проводить на открытом воздухе.

Не знаю, получили ли Вы мое последнее письмо из Лейпцига? С тех пор дождь постоянно мешал нашему путешествию, и прекрасная сторона, которою мы ехали, представлялась нам большею частию в самом неласковом виде. Первый город, в котором мы решились остановиться на несколько дней, был Веймар, незамечательный сам по себе как город, но освященный памятью Шиллера и Гёте. Переодевшись, мы тотчас же отправились отыскивать их дома, и Неверов угадал дом Гёте по его простой, красивой наружности и статуям, которые смотрели из окон. На дом Шиллера нам указали: простенькой, с зелеными ставнями и мезонинчиком, он смотрит *recht bürgerlich*¹ и принадлежит какому-то частному человеку. Нам доставляло большое удовольствие угадывать, хоть это не всегда удавалось. Недалеко от дома Гёте театр, очень красивый снаружи. Мы имели рекомендательное письмо к *madame Goethe*, вдове его сына; скоро по приезде послали к ней свои билеты и получили приглашение на вечер. С благоговением входили мы на лестницу, против которой стояли, не помню уж, какие-то колоссальные бюсты, и скоро явились в гостиную, где *m-me Goethe* предупредила очень трудные в таком случае речи с нашей стороны вопросом «*Darf ich Sie in der deutschen Sprache anreden?*»² Мы отвечали утвердительно, и она стала шутить над

¹ совершенно мещански (нем.).

² «Могу ли я обратиться к вам на немецком языке?» (нем.)

трудностью наших имен и решила не произносить их. Она очень умна и любезна, как и другие дамы, здесь бывшие, но, кажется, не более. Был тут еще бар. Штернберг, курляндец, написавший недавно роман; его *Aussehen*¹ мне ужасно не понравилось, и какой-то вертлявый старичок-литератор, низенький, худощавый, делавший пресмешные движения и вместе с этим полюбившийся мне. Разговор был для меня не слишком интересен, и я часто отводил глаза от общества на портрет Гёте, говорят, самый схожий, с светлым, прекрасным, мужественным, улыбающимся лицом. М-me Goethe сама подошла к нему и хвалила удивительное сходство — эта минута перед его портретом одна уцелела для меня из всего вечера. На другой день мы смотрели его жилище, собрание статуй, минералов, и, что всего дороже — его *cabinet d'études*², где лежали манускрипты его сочинений. Как жадно смотреть на них, как хочется уловить душевное его волнение в каждой, едва заметной, черте; наконец, мы видели спальню его, постель, кресло и последнее лекарство; еще перед этим мы посетили гроб его. Он стоит рядом с Шиллером в фамильной могиле великих герцогов. На них по лавровому венку и простая надпись: Шиллер — Гёте! [...]

Что за рассуждения внушила Вам Беттина? Неужели Вы думаете, что истина и простота обыкновеннее этой, так называемой гениальности! А эта истина и простота — есть ли она в Беттине? Я не читал ее писем — стыдно, а надо сказать — кроме некоторых, помещенных в «Библиотеке», но вот что про нее слышал: она женщина с живым воображением и нервным темпераментом, с увлечением отдается каждой мысли, мелькнувшей в уме ее и, кажется, полна горячей любви ко всему, что коснется ее воспоминания; но говорят, что все эти привязанности — вспышка, они создаются ее богатою фантазией и остывают, когда ее напряжение ослабнет; некоторые уверяют даже, что она сочиняла письма к Гёте, которых никогда не писала, вовсе не желая обманывать, увлеченная воображением. Фролов очень умно сказал однажды: Беттина говорит правду, когда лжет, а N. N. (незнаком

¹ внешность (нем.).

² рабочий кабинет (фр.).

Вам) лжет безбожно, говоря самые святые истины, потому что он повторяет то, чего не разделяет его убеждение. Мне эта характеристика нравится. Довольно ли, чтоб уверить Вас, что душа, полная любви, носящая тихо в себе сочувствие ко всему прекрасному, умеющая находить и ценить его вокруг себя в семействе, в людях, выше этой гениальности и заключает в себе прелесть, которой та всегда останется чуждою? И кто же способнее Гёте был бы оценить это простое величие, которого он искал, которого он был выражением в жизни и творениях?

М-те Фролова сделала краткий очерк Беттинина характера и показала ей; так как между похвалами были намеки и на слабую сторону, то Беттина осталась не совсем довольна. Мне не случилось встретить ее ни разу у Фролова... Написал и замарал. Не хочу продолжать рассуждений о женщине, которую не узнал ни лично, ни из сочинений. Может, я и так уж погрешил против нее.

91. Е. И. и Н. И. Станкевичам

30 июня 1838. Эмс

Милая маменька и милый дяденька! Давно уж не писал я к вам — и по причине очень достаточной. Вот уж ровно месяц, как я на водах и не имею в день свободной минуты, кроме времени между питьем вод и ванною, в которое я бывал сначала так утомлен, что малейшее напряжение делало приливы крови к голове. [...] Проездом был здесь Тургенев, которого я узнал в Москве в университете и который кончил потом курс в Петербурге. Они с Розеном прибыли на сгоревшем пароходе, были свидетелями этого ужасного и неслыханного происшествия, кончившегося, можно сказать, довольно счастливо. Один из пассажиров погиб жертвою своей неосторожности — и, кажется, еще человека три из экипажа, и то едва ли. Все другие спасены. [...] С сыновьим уважением и преданностью остаюсь душевно любящий вас покорный сын и племянник Николай Станкевич.

18 июля 1838. Аахен

Милые братья и сестры! [...] Право, я думаю об вас гораздо чаще, нежели вы воображаете. Сколько я ни езжу, ни зеваю, у меня одна утешительная мысль, что есть уголок, в котором я свой, что мне есть куда пристроиться. Иногда невольно пугает меня мысль, что как вы меня ни любите, но долгая отлучка не то чтобы охладила вас, но заставит смотреть на меня несколько иначе — но нет! это, может быть, будет продолжаться один час, а там мы по-прежнему — братья, сестры и шуты! [...] Здесь была неожиданная встреча. Мы с Неверовым легли спать и потушили огонь. Вдруг слышим русский язык у дверей, говорящий тоном контр-альта. Это был Степан Петрович Шевырев. Каково? Если вы, братья, в деревне, читайте и удивляйтесь, если в Москве, то сестры перешлют вам письмо. О натура человеческая! Я ему обрадовался от всей души. Пошли беседы о том, о сем. Дошло дело до Берлина и до Гегеля. Он находит противоречия в «*Philosophie der Geschichte*»¹, но не хотел сложить вины на Гегеля, а складывал на издание Ганса. Вы ведь знаете, любезные братцы, как я умен в таких случаях. Я оправдывал Ганса, но говорил, что не въучившись [...] вполне в Гегеля, легко можно впасть в недоразумение, говорил смирно, вежливо. Степан Петрович ничего, говорит, что гегелизм распространяется в России, что он рад, что молодые люди имеют какой-нибудь интерес, но жаловался, что они сами себе вредят смешными повторениями двух, трех слов: *Schönseeligkeit* и проч. Это похоже на правду! Потом в Эмсе я говорил с ним подробнее; он хвалил, что я хорошо излагаю, советовал мне написать и, шутя, говорил, что, может быть, я его обидеализирую. Это все не пускайте в ход в Москве. [...] Брат ваш Николай Станкевич.

¹ «Философии истории» (нем.).

93. Т. Н. Грановскому

18 августа [1838]. Аахен

Любезный Тимофей! [...]

Скажи: много ли книг Беттины? Я теперь прочел: «Briefwechsel mit einem Kinde»¹. Тут не все, что я прежде слышал. У ней много фантазии, есть изумительно верные мысли, но все так фигурно, нервно и через это однообразно и неестественно! Она была, точно, одушевлена, когда писала, но я знаю этот род одушевления: источник его не глубок. Фантазия много говорит истинного, но фантазия фантазирует часто собою, играет сама с собою, любит в зеркале, отсюда кокетство в одушевлении. Фантазия тогда имеет особенную прелесть, когда она воплощает задушевное — то, что лежит в *Gesinnung*², в *Gemüth*³. Ее любовь к Гёте — мне загадка. Даже есть что-то неприятное в такой привязанности, как во всем капризном и исключительном, чему мы не можем дать общего человеческого происхождения. Спроси: так ли думают Фроловы? Сколько я заключаю из записки m-me Фроловой, мы одинаково думаем.

94. Т. Н. Грановскому

27 — 28 августа 1838. Аахен

27 августа

[...] Аахен скучен как черт знает что. Прочел: «Tag- und Jahreshefte»⁴ до 1806. Мирюсь с Гёте, хоть не всегда симпатизирую. Такие вещи, как, например, его отзыв об обращении Штольберга, несколько строк — для меня особенно характеристичны: они обличают его высокий ум; его вражда с Коцебу, отношения к друзьям так понятны, такие человеческие! Не знаю: есть ли еще продолжение? Шевырев есть то, что я прежде об нем думал. Я наконец сделаюсь ужасно упрям, перестану всех слушать. Меня увлекло не-

¹ «Переписку с ребенком» (нем.).

² убеждение, образ мысли (нем.).

³ Здесь: сердце (нем.).

⁴ «Дневники» (нем.).

вольно в мнение на счет его общество людей, между которыми я был. И как все это странно делается! Я сказал первый Белинскому, что Шевырев надувается в стихах, потом заметил отсутствие логики в его лекциях и т. д. Все это Белинский принял с болью, согласился; Ключников, независимо от меня, читал своего рода филиппики (à propos — Белинского гонения надо назвать Шевыревику) [...] между тем Шевырев, черствея в самолюбии и педантизме, смешил и досадовал народ. Не видя его, видя его только в этом жалобном печатном костюме, кто б еще сохранил память о его человеческом достоинстве? Но в нем есть капля ума, есть добрые намерения, все это придавлено самолюбием. Я уверен, что он, точно, несколько подался, но, верно, опять впадет в свое болото; отбросив самолюбие, которым он здесь ничего не мог выиграть, он должен был понравиться Вердеру. [...]

Спасибо за Пушкина. Ты, я вижу, начинаешь умнеть. Я Шамиссо читал какие-то пустяки. Но образ суждения о поэте очень забавен. Вот у Фроловых так есть немножко той односторонности, в которой ты себя упрекаешь. Они все о пользе. Переведу Вердеру «Зимнюю дорогу» прозою, как могу, и прочту стихи по-русски. Тут такая целостность чувства, грустного, истинного, русского удалого! У Гёте есть несколько таких стихотворений, как например: «Da droben auf jenem Berge»¹ и пр. У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастического, больше Fleisch und Blut²: тут неразвитое, простое чувство. Но у Гёте, кроме того, есть много таких вещей, где видно его мировое развитие, которого, разумеется, Пушкин не имел и которого мы ему не приписываем, но в этих простых, коротеньких исповедях цельной, живой, умной натуры — истинная поэзия! Мало ли у него таких вещей! Пожалуй, Баратынский и Мих. Дмитриев, Шевырев и т. п. очень много рассуждают в своих стихах, Веневитинов даже философствует, и у последнего есть, по крайней мере, теплота, истинное чувство, часто поэзия, а я усомнюсь сказать, чтобы в нем был зародыш такого таланта, какой обнаружил Пушкин. У Веневитинова было художнически-рефлективное направление вроде

¹ «Там, на той горе» (нем.).

² плоти и крови (нем.).

Гёте, и я думаю, что оно кончилось бы философией — как у Гёте кончилось аллегориею. Мне много приходит в голову на счет гётевых лиц: все они схватывают, обдумывают и высказывают свое положение и свой образ стояния в этом положении, и чем позже, тем менее у него чисто искусства. Это не в укор — он вполне выражает характер эпохи, необходимость мысли и необходимость ее живого существования. У Шиллера в голове «разумная действительность», прямые человеческие требования без особенного уважения и внимания к натуральной действительности — следствие его духовно-философских (не натуро-философских) и исторических занятий; его задача яснее и проще, он цельно решает ее. Так я себя успокаиваю в моих вопросах об этих людях. И разницу их и гениальность явно чувствуешь, хочется непременно дать отчет; впоследствии это, может быть, лучше объяснится [...]. Вообще, если трудно становится решить что-нибудь, переставай думать и — живи. В сравнениях и выводах будет кое-что истинное, но верно вполне схватишь вещь только из общего живого чувства.

28 августа

Вчера слышал m-lle Garcia ¹. Первый речитатив, пропетый ее могучим голосом, поразил меня. В нижних нотах — это что-то необыкновенное. По крайней мере, так кажется мне, пфушеру, незнатоку. В верхних, мне казалось, она делала усилие, голос был хрипок и переливы не чисты, но когда спускает его, в нем необыкновенная прелесть [...] Мило, свободно, очаровательно. У Гейнефеттер, у Новелло — голоса как-то мягче, чище, но этакую благородную свободу, уверенность, силу у тех не встретишь. Притом есть в ней что-то нервное, итальянское, которое в другую минуту и в другом роде, может быть, и не понравилось бы. [...]

¹ Гарсиа (фр.).

95. В. Г. Белинскому

1 ноября 1838. Берлин

Благодарю, друг Виссарион, благодарю! Твое письмо, несмотря на известие, которое оно сообщает, было для меня спасительно. Ты собрал в нем все, что могло утешить меня. Вы слишком много за меня боялись: смерть ее наполнила меня грустью, но не отчаянием. Она оживила во мне ее образ, сделавшийся страшным сном. Я представляю себе все обстоятельства, все, что сопровождало ее в жизни, и мысль, что она не существует, заставляет меня плакать. Я не снимаю вины с себя, хотя слова: «тайна осталась тайною» сняли половину горя с души. Наш добрый друг Вердер говорит мне: «Если разум оправдывает вас, сердце не может расстаться с сознанием вины — иначе в нем нет любви», и я сознаю ее. Этот период жизни отрезан, вечное воспоминание будет лежать над другим — дай бог, чтобы в нем было что-нибудь, кроме воспоминания. Я пишу к отцу и Карлу. Грановский писал тебе, что мне нужно. Пиши смело о состоянии семейства, о Мише, о Бееровых, сегодня мне некогда. Твой друг Станкевич.

96. И. В. Станкевичу

1 ноября 1838. Берлин

Милый брат Ваня! Я сегодня не могу писать к тебе много. Благодарю тебя, мой милый! Теперь смело можешь писать и говорить мне обо всем. Не бойся никогда поразить меня: в ней я потерял не ту, которую любил, но которой жизнь, может быть, сделал бы безотрадною. Судьба кончила все, как обыкновенно кончает: она разложила вину. Ее память освещает душу мою, которую сушила неестественность моего положения; я хотел бы долее удерживать образ ее, который потускнел в моей памяти. Милый брат! нам осталось идти вперед! Моим горьким опытом ты навсегда освободишься от несчастных ошибок. Жизнь твоя в тебе, в твоей бесконечной и бесстрашной дея-

тельности, в твоей любви, и только сознавая в себе такую жизнь, можно любить и быть уверену, что любишь! Пиши мне! Твой брат Николай. [...]

97. Станкевичам

18 ноября 1838. Берлин

Милые братья и сестры! [...] Вы уже знаете, что я пользуюсь особенно расположением одного молодого профессора Вердера; это редкий человек. Ему 30 лет от роду, но он так наивен, как ребенок. Все его радует, как нельзя больше. Кажется, на целый мир смотрит он, как на свое поместье, в котором добрые люди беспрестанно готовят ему сюрприз. Нельзя не позавидовать этой тишине и ясности в душе, этой вечной гармонии с самим собою. Его беседы имеют на меня всегда спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, самому становится лучше и даже сам становишься лучше. [...] Душевно любящий вас брат Николай Станкевич.

98. В. П. Боткину

6 февраля 1839. Берлин

Любезный Василий Петрович! Ты, верно, не сердит на меня, что я так долго не отвечал на твое письмо. Разная дрянь мешала мне поговорить с тобою, но теперь я свободен. Во-первых, благодарю тебя и Ключникова за ваши письма: я буду отвечать ему через несколько времени особо, а теперь поделись этими строками: его положение мне так знакомо, так внутренне понятно, и между тем я с трудом или вовсе не объясню его словами; я с ним согласен, что это момент выздоровления, в котором есть еще болезнь, составляющая его существенную часть — и отчасти его прелесть, минута первого свидания с благами жизни! Она не может быть без болезненного волнения, которое стихает в долгом, верном обладании — момент, который, может быть, суждено перейти, но обойти его может или здоровый духом, или

муж, нарочито отличающийся телесным здоровьем — не более. Довольно психологии, в своем деле никто не судья. Это одна из немногих умных русских поговорок. Я радуюсь твоему житию, милый Василий Петрович! По моему полному убеждению, никогда не посоветовал бы я тебе разорвать связи, в которых, может быть, лежит разгадка той гармонии с собою... Что бы дала тебе кукушкинская свобода? К чему приведут спекуляции, отвлеченности, когда человек оторвется от круга, где ему назначено осуществить свои убеждения? Нет, слава богу, прошло время, когда нужно было оставить отца и мать для своего спасения — и как может семейный круг помешать развитию духовных сил? Как могут житейские занятия отнять все время у души? Немного людей, которым назначено поставить науку выше ее самой, дать ей новый вид, и таким людям нечего советовать, рано или поздно они ясно уразумеют свою сферу. Идти против своего призыва — бесполезно. Да и как можно вдруг оторваться ото всего, присесть и выводить категории? Поверь, только голова спутается. Мышление требует покоя, душевной гармонии; мысль должна возвращаться в свою целостность, набираться сил в наслаждении искусством в действительном мире. Боже мой! Как сухи и бесполезны нелепые, беспокойные, отвлеченные занятия! Притом — не знаю, может быть, моя неспособность виновата, но мне кажется, что трудно и невозможно начинать изучение философии широкою логикою Гегеля в 3-х частях, наполненную множеством рефлексий... [...] Я до сих пор редко в нее заглядываю — это изучение нельзя отделать разом, по крайней мере для меня, если б я за это принялся исключительно, или, по крайней мере, теперь посвятил на это большую часть времени — это было бы насилие над собою, которое и не привело бы ни к чему — тем более, что у меня много других требований, которые не дали бы покойно отдаться этой отвлеченной работе. Боже меня сохрани советовать то же другим: нет! кого влечет это, кто чувствует в себе довольно своей жизни, единства, полноты, чтобы броситься в этот мир скелетов — тот иди смело. Я же руководствуюсь лекциями Вердера и «Энциклопедиею» — пишу, вывожу и читаю только кое-что в большой «Логике», по указанию. Нужно ли ска-

зывать, что я здесь совсем не норма, что в моем положении нельзя было иметь довольно покоя и силы, чтоб бороться счастливо с трудностями науки? Я еще очень, очень далек от полного душевного здоровья, хотя вышел из прежнего ужасного состояния, ясно понимаю, что я теперь могу и должен, но боялся бы не только советовать, даже показать собою невольный пример другому и прошу Мишеля — если увидишь его, заниматься, как он находит для себя лучшим. Что касается до тебя, то следуй себе и, верно, не ошибешься. Конкретные сферы философии, которыми ты отчасти занимаешься, имеют ту выгоду, что не выводят мысль за предел сердца — и прямо действуют на целое существо. «Эстетика» особенно хороша — и хорошо издана. Гото с полным самоотвержением посвятил много времени на ее обработку, не имея в виду ни денег (никто из издателей Гегеля ничего не берет себе), ни славы — и сделал из нее художественное произведение. [...]

Я читаю теперь Гиббона «Историю падения Римской империи», чтоб познакомиться с тем, что было в Сред[ние] века. Мне помогают для этой цели и лекции сред[ней] истории проф[ессора] Ранке. [...]

Театр продолжаю посещать: он сделался для меня существенною потребностью. Ты, может быть, слышал о *Зейдельмане*: это отличный артист и доставляет полное удовольствие в некоторых ролях. Он очень умен — в нем, кажется, совсем нет этого жара, который заставляет актера совершенно сделать своими все интересы действующего лица, хоть на несколько минут, но зато у него и круг ролей, которые не требуют этого. [...] Я его видел по большей части в роли людей холодных, злых, коварных — здесь он совершен. Он любит несколько портретировать лица, даже идеальным придавать особенную наружную физиономию. Это стремление не всегда можно оправдать, но как он исполняет такие задачи! Жаль, что репертуар здешний редко дает его таланту возможность обнаружить себя более существенным образом. [...] Здесь дрезденский Девриен, в субботу увидим его в «Дон-Карлосе» Шиллера.

О певцах и певицах уж писал я. Теперь ангажирована сюда m-lle Schultz¹, которой голос мне очень

¹ Шульц (нем.).

нравится; до сих пор я слышал ее только в «Figaro's Hochzeit»¹ Моцарта, где она играла графиню. [...] Слышал один раз Тальберга на фортепьяно: ты знаешь, что я невежда, что касается до музыкального исполнения, но его игра заслужила и мое высокое внимание: он играл свою фантазию на гимн Марселя из «Гугенотов». Странно видеть, что обе руки заняты самым сложным аккомпанементом — и вместе с тем играет, как будто третьей рукою, мелодия. Каждый пассаж так отделен, каждый палец работает так независимо, как особый инструмент. Большое sensation сделал здесь русский музыкант из Петербурга (на скрипке) Ремерс. В пятигрошовом (60 к.) концерте удалось мне слышать симфонию C-mol Бетговена² — исполнение не образцовое, но что это за вещь, Боткин! Как я жалел, что тебя не было!

Здесь, на Мёзерских вечерах, каждую неделю играют симфонии Бетговена, но я редко, к стыду, бывал там. Всегда какая-нибудь дрянь в театре помещает — успею! говоришь себе — теперь стану ездить. Если увидишь Мишеля, скажи, чтоб он ничего худого не думал, что я не отвечаю ему. В ответ на его письмо я мало имею сказать ему! Скажи, Василий Петрович, что я могу сказать в таком случае? Я буду писать к нему непременно, но он поймет, что мне трудно и нечего отвечать на его печальные известия. Я только благодарю его, благодарю сестер его от всей души, что в них не осталось того горького, бессознательного чувства против меня, от которого трудно избавиться. Поцелуй Виссариона. Если увидишь братьев, скажи им, что в таком-то городе живет Николай Владимирович. [...] Прощай! Будь здоров и пиши ко мне. Твой Станкевич.

О моих маленьких болезнях братья не должны говорить ничего моему отцу. Он вообразит бог знает что — меж тем как это не имеет никакого значения.

¹ «Свадьба Фигаро» (нем.).

² Пятая симфония Бетховена.

13 июня [1839]. Эмс

Еще в Дрездене получили мы ваши письма, почтеннейший Николай Григорьевич и Елизавета Павловна! [...]

Заниматься мне теперь много нельзя... Прочел новую немецкую историю от революции в Менцеле. Это меня заинтересовало и как-то оживило. Ничто не может действовать на человека (не совсем сбившегося с пути) спасительнее, как созерцание общего, человеческого. Я теперь более и более убеждаюсь в том, что утверждает Гегель: что сфера государства есть одно спасение от субъективных Launen¹, что здесь человек находит себе Halt — опору. Как чувствителен был для меня потом переход в душную сферу частных и индивидуальных страстей, когда я стал читать «Leone Leoni»!² Сколько здесь верного (не говорю: истинного, — это имеет другой смысл) психически, несмотря на много вздору и натяжек, и как тяжка эта верность! Это грустное блуждание есть также нужная степень в жизни. Философия бесстрастно рассматривает моменты общности и особенности, без муки соединяет их вместе, а в жизни эти моменты воплощаются, каждый из них страдает, едва сознавая, что его спасение в другом, каждый уничтожается с болью! Но надобно признаться, что существенная, основная мысль романа развита дурно до бесконечности. Я уж не говорю про то, что такое произведение не есть искусство, а Mittelding³. Тут нет ясного подвига, которым бы освежалась душа! Тут — страдание человека, потерянного в самом себе. Но сколько преднамеренных нелепостей, сколько несообразностей, излишек, натяжек! Прочту еще что-нибудь m-me Dudevant⁴, чтобы составить об ней себе полное понятие. [...] Будьте здоровы и не забывайте душевно вас любящего и уважающего Н. Станкевича.

¹ причуд (нем.).

² «Леон Леони» (фр.).

³ ни то ни се (нем.).

⁴ г-жи Дюдеван (фр.).

100. Т. Н. Грановскому

25 июня 1839. Берлин

[...] Я получил письмо от Белинского. Он выслал мне многие статьи из «Наблюдателя». Привезу их с собою. Они, отчасти, срамятся. Мне очень будет отрадно о многом еще побеседовать с тобою [...]

101. А. П. Ефремову

8 июля 1839. Зальцбрунн

Любезный Ефремов! Ау! Где ты? [...] Белинский прислал мне с Ховриным листки из «Наблюдателя». Мы с Грановским все почти перечитали. Лучшая часть — стихи. Всего лучше — переводы Каткова из Гейне — отличные, как лучше нельзя желать, и Аксакова из Гете и Шиллера. Из оригинальных особенно хорошо «Петр Великий» Ключникова! На днях буду отвечать неистовому. Как бы хотелось узнать от тебя изустным преданием о всех московских похождениях! Кстати, напиши мне, где теперь Варвара Алекс [андровна] Дьякова и что ее дело, и каков Саша и одна ли она за границей или с мужем. Об этом мне из России никто не написал, кроме того, что она была в прошлом году в Базеле.

Прощай пока! Надеюсь получить от тебя скоро ответ — если только ты в Висбадене, впрочем. Не то, верно, ты известишь меня о месте своего жительства — я послал тебе мой адрес еще в Любек. Твой Н. Станкевич.

102. В. И. и Е. И. Станкевичам

24 августа 1839. Прага

Милый папенька и милая маменька! Наконец я в Праге и на пути в Швейцарию! [...] Вам не то чтобы прямо неприятно, но, может быть, странно, что я так долго живу за границей без явной надобности. Что я не без удовольствия живу здесь, я не скрываю и не

имею нужды в этом, но поверьте, милый папенька, еще никогда не чувствовал я сильнее, что отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекаати-поле, которое несетя ветром без цели и сохнет на пути... От этого избави нас боже, и я слишком знаю цену себе, чтоб подумать о возможности такого существования. [...] Душевно желая вам быть здоровыми и веселыми, остаюсь душевно любящий вас покорный вам сын Николай Станкевич. [...]

103. Т. Н. Грановскому

1 февраля 1840. Флоренция

Наконец я получил письмо от тебя, любезный Тимофей, письмо, как следует, за которое я тебя благодарю. [...] С большим удовольствием приехал я во Флоренцию, где мог наконец успокоиться. Тут я нашел *pi-g* и *m-me Kenney*¹, с которыми тот же день увиделся. Можешь судить, как это мне было приятно. В конце ноября прибыли и Фроловы. Теперь все мы живем на одной площади *S-ta Maria Novella*; Kenney и Фроловы даже в одном доме. Ефремов — несколько шагов от меня.

Первые дни я много бегал по галереям, за городом, ездил верхом и ничего почти не делал. Наконец спохватился, стал кое-как работать.

Я так привык теперь быть с Фроловыми и Kenney, что мне и в Рим не очень хочется. Мне будет грустно без них. Фроловых ты уж довольно знаешь — тебе говорить нечего об них, а *m-me Kenney* ты только мельком видел. Но она именно то, что кажется с первого раза. В ней для меня есть удивительная нравственная прелесть; в ее существе такое спокойствие и чистота, которые непосредственно действуют на душу; ее присутствие — просто одно присутствие — благотельно (не подумай, что я влюблен или увлечен — нет! право нет! я говорю как человек вообще). Она не развита совсем. У нее ясный простой взгляд на вещи,

¹ Кени (фр.).

много чувства, но нет обширного мира, у нее нет полета. [...] Зато прекрасное явление, доступное ей, находит у нее всегда отголосок. Она создана для семейной жизни, для того, чтоб разлить тихий свет на жизнь своего мужа, на его кабинет. Когда смотришь на нее, бредни фламандской школы невольно проходят по голове. [...] Кроме логики, что я делал? Кажется, ничего. Прочел несколько скучных драм и романов для усовершенствования себя в итальянском языке; оканчиваю теперь «Флорентинскую историю» Макиавелли. Первые месяцы проводил я большую часть времени в глазении. Здешние галереи в самом деле богаты, и даже мне, варвару, доставляют много удовольствия. Несколько мадонн Рафаэля прелестны. Наружная красота играет роль во всех итальянских картинах: она только просветлена высшим содержанием. Даже в старинных мастерах это стремление явно. [...] Кроме Фроловых и Кени, я знаком здесь с одною русскою фамилиею, Ховрины, муж, жена, две дочери. Он человек простой, добрый, ограниченный, без претензий. Она очень недурна, несмотря на то, что ей под 40, добра, не глупа, но ничего особенного. Дочь, лет 17, недурна, aber nicht sehr ansprechend¹. Другая — лет 13 или 14, миленькая девчонка — впрочем, все это так — батист д'экос. [...] Твой Н. Станкевич.

104. В. И. и Е. И. Станкевичам

5 марта 1840. Флоренция

Милый папенька и милая маменька! [...] Вы, верно, не будете раскаиваться, что давали всегда полный простор любви вашей к детям; правда, мы все, может быть, немножко избалованы, но от избалованности скоро, слишком скоро, вылечивает жизнь; зато все мы, верно, единодушно скажем, что вашей любви обязаны мы всем, что только есть в самом деле хорошего в нас, что она сохранила сердца наши и открыла их для ощущений любви и дружбы, без которых жизнь не имеет смысла и без которых человек поневоле делается дурным. [...] Душевно желаю, чтобы вы были

¹ но не очень интересна (нем.).

здоровы, веселы и утѣшили меня вашимъ ответомъ. Целую ручки ваши и с сыновьимъ уваженіемъ остаюсь душевно любящій васъ, покорный вамъ сынъ Николай Станкевичъ. [...]

105. Е. П. и Н. Г. Фроловымъ

13 марта 1840. [Рим]

Вотъ ужъ я опять пишу къ вамъ, несмотря на то, что не могу сообщить вамъ еще ничего интереснаго *an sich*¹. Но Вы, Елизавета Павловна, дали мнѣ позволеніе, даже требовали, чтобы я былъ *tauvais genre*² и говорилъ о себѣ — и я пользуюсь этимъ позволеніемъ, чтобы только говорить съ Вами. Все мои подвиги въ Римѣ ограничиваются до сихъ поръ темъ, что я отыскалъ себѣ квартиру (Corso, № 71, 2^o p^o), которою пока очень доволенъ. Железная печка очень хорошо греетъ комнату, чистую, веселую и удобную. Маленькій *Schlaf-cabinet*³, по счастью, какъ разъ противъ печки, следовательно, съ этой стороны я обеспеченъ: солнце, когда оно на небѣ, смотритъ и сюда — не знаю, надолго ли, потому что съ моего перехода только сегодня утромъ нетъ дождя. Но, по положенію и заверенію хозяйки, можно надеяться всего хорошаго и въ этомъ отношеніи. На второй день после того, какъ я отправилъ вамъ письмо мое, сделалъ я мое первое, бѣглое странствованіе по Римѣ. Я ужъ писалъ вамъ, что новый городъ очень весело смотритъ, дворцы его великолепны, улицы полны народа. Въ направленіи Корсо вышелъ я къ старой Капитоліи и здѣсь остановилъ меня совсемъ другой видъ: тамъ и сямъ торчатъ колонны, по одной, по три, по восьми; въ углубленіи массивная арка Септимія Севера, вдали Палатинская гора съ садами. Тутъ уже все отжитое — я не останавливался надъ исследованиемъ, что здѣсь принадлежитъ храму Юпитера, что другому (хотя это все очень хорошо рассказано въ дорожникѣ Нибби, въ который я имею привычку заглядывать уже после). Пошелъ дальше по бульвару, вдоль котораго тянутся опять остатки древностей и, нако-

¹ самого по себѣ (нем.).

² невоспитаннымъ (фр.).

³ спальня (нем.).

нец, за аркою Тита встретил Колизей, который красуется в заглавии этого письма. Это одно, что осталось у меня из этого дня. Не знаю, каков был он в своем цвету, в первобытном виде, но, верно, не лучше, чем теперь! Я не думал много о его назначении, о народе, растерзанном зверьми в его стенах, я видел только огромную, гармоническую развалину и темно-синее небо, просвечивавшее во все ее окна. Внутренность его также хороша: я всходил на высший этаж. Ступени, на которых сидели прежде зрители, теперь обрушились, и потому не видишь больше пустого места, которое должно быть занято, чтобы здание имело значение. Кустарник растет на месте этих ступеней и делает эту развалину полною и удовлетворительною в самой себе. Внизу, на площади, где сражались гладиаторы, стоят теперь так называемые станции, представляющие шествие Христа на Голгофу и посредине распятие... Вид с Колизея на окрестность очень интересен. Я ходил с Ефремовым; тут же встретил и Тургенева. Оттуда мы пошли вместе до новой Капитолии. Она великолепна, но описывать предметы бесполезно: их схватываешь только когда видишь. Притом, кроме Колизея, я ничего не видел как следует, т. е. все другое видел только глазами. Я знаю, как смешаны мои впечатления, как много в них субъективного, но об этом не хлопочу много: всякий человек живет и должен быть снисходителен к своей индивидуальности, верить ей — не то она еще больше будет его обманывать. Два дня был здесь страшный дождь, и я не мог ничего видеть. Вчера был у Рунда и просидел два часа в его студии, рассматривая его картины, пока он трудился над новою. Он серьезный, дельный, честный человек и, кажется, знающий свое дело. Большая часть его картин представляют внутренности неаполитанских, сицилийских церквей и, сколько могу судить я, очень хорошо взяты; игра света в них всегда очень интересна. Теперь он отделяет внутренность церкви Петра, по заказу, кажется, Ольденбургского принца, если я не ошибаюсь. Один наш художник очень хорошо отзывался об ней. Тургенев берет у Рунда уроки в рисовании и ужасно пристрастился к живописи. Ховрины сказывали мне вчера, что он у них целый вечер проговорил о живописи и своей страсти к ней.

Он, впрочем, не без таланта в этом отношении. У них же видел я русского художника Маркова. Он уже человек не первой молодости, может быть, без дальнего развития или с одним самостоятельным развитием, но имеет необыкновенно ясный ум, судит обо всем просто и здраво. Вчера он особенно понравился мне, его полемика совершенно русская и забавна как нельзя больше. Вчера же узнал я, что сюда приехал Шевырев. «Правда ли, что вы ужасно как занимались философией Гегеля в Берлине?» — спросила меня Марья Дмитриевна, получившая эти сведения от Шевырева. Он желал очень видеть меня и не понимал, как я (подразумевается: такой хороший человек) мог отдаться философии Гегеля (подразумевается: сделаться негодяем). «Это совсем фальшивое направление, — говорил он, — особенно в России» — т. е. в Германии меньше фальшиво, а в России больше, т. е. в Германии, может быть, немножко правды в этом направлении, а в России нет. Я постарался объяснить Марье Дмитриевне, как мог, что нет разной истины: что правда для немца, то правда и для русского; что против философии, конечно, можно спорить, но не браниться, отвернувши голову, за то только, что она философия. Наконец, он говорил ей о берлинской безнравственности. Вы можете себе представить, какой эффект сделало на меня это слово, этот горох, которым филистеры стреляют во все, что давит их своею необыкновенностью! Но я сдержался и объяснил хладнокровно, что если ей говорили про нравственность простого народа, то она непримерна во всех больших городах, а в Берлине лучше, нежели где-нибудь, а по сознанию, по общему мнению, Пруссия стоит выше всех других немецких государств, выше Франции и Англии. Марья Дмитриевна была согласна. Я объяснил все это тем, что Шевырев умный, добрый и честный человек, но совсем не знаком с этой сферой и знает ее по ложным преданиям. В Маркове я успел заметить уважение к мысли. Я готов был пойти к Шевыреву первый, но еще не знаю: все это раздосадовало меня как нельзя больше. И еще досадует меня то, что кто-нибудь станет перед ним защищать философию, и они поедут и поедут, и кончится тем, что добрый наш профессор сознает свое достоинство больше, чем прежде... Ваш Станкевич. [...]

19 марта [1840]. Рим

Третьего дня получил я письмо Ваше, Николай Григорьевич, от 13-го и благодарю Вас за него. Радуюсь, что наконец дошло к вам письмо Грановского, авось, мы получим от него скоро более свежее известие. [...]

Мы ездили с Марковым, Рундом, Ефремовым, Тургеневым, Ховриным смотреть кой-какие развалины: гробницу Сципионовой фамилии — темный и сырой подземный коридор; катакомбы — место жительства, службы и погребения первых христиан; эти, также темные, подземные коридоры более интересны воспоминаниями — они играли роль; гробницу Цецилии Метеллы, дочери богатого Красса; цирк Ромула (сына Максенция); мнимый грот Эгерии. Особенно хороша, сама по себе, гробница Цецилии Метеллы, круглое здание, вполовину разрушенное. На дороге попадалось много других обломков, поросших кустарником, — они делают чудесный вид. Храм Петра превзошел мои ожидания: представьте громаду, которая была бы велика, как площадь, но такую стройную и гармоническую, что вы обозреваете ее одним взглядом. В церкви дышишь вольно и подымаешь голову выше. Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу своею необыкновенностью: душа выше ее, но она довольна, когда находит себе такое жилище. Огромный купол чудесен. Мы лазили и туда; мозаики, кажущиеся снизу почти миниатюрными, колоссальны. Двор церкви, с фонтанами и обелиском — великолепен. Крепость Ангела, стоящая на дороге к Петру, делает очень хороший вид. Ватиканского дворца еще не видал! Его отпирают публично только два раза в неделю, но, говорят, можно быть в нем и чаще. Музей Капитолийский видел я больной и уставший. Недавно осмотрели мы Palazzo Borghese¹, где много хороших картин. Особенно — Рафаэлево «Снятие со креста».

Я все еще не делаю ничего порядочно, да и трудно. Чуть было не стал читать Тита Ливия, но, по счастью, в лавке, где я хотел купить его, получено

¹ Палаццо Боргезе (ит.).

было два первых тома, а второго не было. Но все возьмусь за что-нибудь из римской истории, как ни грустна она сама по себе. Об ней Вы читали верно в «Философии истории» Гегеля: мне кажется, он чудесно постиг римскую жизнь! К Ховриным мы ходим все очень часто: Тургенев, Ефремов и я; Марков тоже каждый вечер там. Я играю в четыре руки с Шушу, потом идет, всегда очень веселый, разговор, который Марков оживляет своим добрым остроумием, заграждая дверь дурной бесконечности. Тургенев обыкновенно рисует свои фантазии и очень удачно. Вчера я давал ему библейские темы, напри[мер]: Адам, который не знает, что ему делать, и проч. Марков сделал тут же мой портрет — говорят, очень похож. Я верю другим, потому что сам не воображал себя таким, думал, что я лучше — шутите же после этого над Вердером! Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую он плел у Вас. Право, он умен! Не говорю о степени — он молод, может и вообще не прыток, но все-таки умнее, чем мог казаться у Вас. [...]

Желаю вам быть здоровыми и наслаждаться всем, что небо дает человеку, живущему во Флоренции, и помнить вашего Станкевича. [...]

107. Е. П. и Н. Г. Фроловым

· 26 марта [1840]. Рим

Наконец, кажется, небо сжалилось над нами и хочет подарить нас порядочной погодой. Сегодня оно чисто и приняло свой нарядный, темно-синий цвет. С крыш льет вода от вчерашнего снега и дождя, которые по очереди шли целый день. Что-то делается теперь во Флоренции? Напишите, если не забудете. Это интересно для сравнения. [...] Здесь все занимается Римом, Италией, рисовкой; все читают по нескольку книг разом: следствие разнообразных интересов Рима. Брингинский особенно отличается разнообразием современных занятий и читает часто, играя на фортепьянах. Он кланяется вам и благодарит вас за участие, кажется, он стал теперь осторожнее в от-

ношении своего здоровья. У Ховриных мы бываем почти каждый вечер и почти все, но обыкновенно часа на два; я подаю сигнал, руководимый благоразумием. Эти два часа проходят довольно скоро, потому что все ужасно много говорят. Тургенев рассказывает всегда что-нибудь примечательное. Вчера сказал он нам, что видел во сне, будто женится на Шушеньке, но уверял, что он боялся этого брака. Разумеется, Ефремов принял это очень к сердцу, я — нет, потому что флорентинская страсть, замеченная во мне Елизаветою Павловною, не возобновилась. Подожду — может, еще и родится. Для этого нужно, чтоб стало теплее и я поменьше кашлял. Мы уж с ними говорили об общем путешествии в Неаполь, в одном дилижансе. [...] Пора бы нам дожидаться ответа от Грановского. Он знаком с Огаревыми: они пишут об этом к Ховриным. Огарев читает теперь Гегеля — не знаю что. [...] Ваш Н. Станкевич. [...]

108. Е. П. и Н. Г. Фроловым

5 апреля [1840]. Рим

[...] Я, кажется, не писал вам еще о «Моисее» Микельанджело? Что это за художник! У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукою! Эта статуя — в церкви Св. Петра. [...] Лицо Моисея далеко от классического идеала: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро, одною рукою придерживает он бороду, которая падает до ног, другою, кажется, закон. О свободе, отчетливости в исполнении и говорить нечего. Гёте, посмотрев на творение Микельанджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу и от этого в ту минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, что есть что-то уничижительное в этой гигантской силе, но не смело ли это сказать? В его искусстве нет этой мирящей силы, которая господствует и в греческом христианском искусстве. Он возвратился к Старому Завету; этот служитель бога ревнивого — настоящий его сюжет, богоматерь... женщина вообще — не его дело. Я готов был сказать: в его искусстве нет бо-

жества... но это несправедливо — нет всего полного, любящего. Из божества в нем осталась сила; (представьте, что до сих пор мне не удалось быть в Сикстинской капелле!). В той же церкви, где Моисей, есть [...] головка Гвидо Рени — надежда; даже у него немного таких головок — и каково ж смотреть на нее после Моисея! тут одна душа без тела, музыка — но не забудьте все-таки, что я варвар в живописи. [...]

109. Е. П. и Н. Г. Фроловым

7 апреля [1840]. Рим

Вчера я не успел написать вам ничего; кажется, немного успею и сегодня. [...] Вчера еще раз был в Ватикане. Аполлон еще более мне понравился — что после этого абстрактная сила Микельанджело? Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах. Вечером Рунд привел к Ховриным скульптора Вандерфельда, голландца; он говорил нам, что эта статуя, превосходная во всех отношениях, не принадлежит к первоклассной эпохе греческого искусства. Он видит тут какую-то мягкость, чуждую первым школам. Это для меня ничего: я упрям и имею свои понятия об этом. Мне нравится, что Аполлон был идолом Винкельмана. Так как я должен сейчас кончить письмо, чтобы не отложить его отправку до послезавтра, то скажу поскорее вкратце, что особенно хотелось мне передать вам. Шевырев обещал написать обо мне Баадеру и советовал явиться к нему в Мюнхене. Разумеется, если мне удастся быть там, я это сделаю непременно. Он просил меня также быть терпеливым к его выходкам против Гегеля, которого он не любит. «Впрочем, эта снисходительность совсем в вашем характере», — прибавил он. Я в самом деле взял за правило самообладание в разговорах такого рода, и оно гораздо выгоднее и для меня и для чести науки, может быть... оно сковывает порывы самолюбия в другом или заставляет его обдумать мнения, возникшие *par dèpit*¹. [...]

¹ с досады (фр.).

Марков был на днях у меня и закидал меня философскими вопросами и сомнениями, на которые было ему трудно отвечать. У него светлая голова, живые требования, но Einsamkeit!!!¹. Я никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего. Но его требования не эгоистические — нет! существования одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы. Тут трудно отвечать что-нибудь, тут помогает характер, помогает невольная вера, основанная на знании разумного начала. [...] Тургенев имел только намерение брать уроки у Рунда, но не осуществил его и, кажется, не рисует больше. Мы видимся каждый день и делаем партии вместе. [...] Ваш Станкевич.

110. Е. П. и Н. Г. Фроловым

11 апреля [1840]. Рим

[...] Тургеневу не снится более Шушу, но вчера вечером, наяву, он с одушевлением говорил о ее красоте. Из новых карикатур его очень забавен Марков с невестой, над которым Тургенев держит венец. На другой представлен Марков с палитрой и кистью перед Колизеем — тоже смешон. [...] Будьте здоровы и пишите к вашему Станкевичу.

111. М. А. Бакунину

19 мая 1840. Рим

Любезный Мишель! Ты, разумеется, удивишься моему письму после такого долгого молчания; ну, пока удивляйся — это не вредно, и между тем я хочу тебе писать и на этот раз не могу не писать. Прежде всего скажу тебе, что Варвара Александровна здесь, в Риме. Я собирался ехать в Неаполь, заболел — и она, узнавши об этом, приехала нарочно, чтобы меня видеть. Друг мой Мишель! Несмотря на твои несправедливые предположения, к которым я, может быть, подал повод своею безалаберностью, ты поверишь

¹ одиночество (нем.).

мне, когда я сам скажу тебе, что каждое лицо вашего семейства для меня вечно свято, что я храню память об нем вместе с памятью всего лучшего и святейшего в первом, юношеском периоде моей жизни, что я не знаю для себя лучшего, больше чистого, больше отрадного мира. Теперь ты можешь судить, что такое для меня святое, братское участие сестры твоей — я не умею тебе сказать ни слова о том, что произвел приезд ее, но она это видит, я в этом уверен. Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? Оно не заслужено совсем. Она окружает меня самою сильною, самою святою братскою любовью; она распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье и сердце, я становлюсь и крепче и святее. Но довольно об этом; к тебе. Она показала мне письмо твое, которое она получила на днях. Друг мой! ты, с одной стороны, слишком много даешь мне участия в твоём внутреннем процессе: я ли, другой ли, книга ли — сделали бы то же, это только внешнее побуждение, внутренняя сила делает все. С другой — ты горько несправедлив ко мне, но виноват в этом один я, Мишель! Как бы много ни было в нас недостатков, ты должен согласиться, что мы давно вышли из животной сферы невольных впечатлений, и что лицо не может для нас играть роли какой-нибудь вещи, напоминающей то или другое состояние души — иначе я должен бежать всех, кого встречал в минуты моих страшных душевных раздоров! Что касается до причин, которые бы могли развести нас — я не вижу никаких. Ты мог охладеть ко мне, это не было бы невольное впечатление; ты с упреком мог оттолкнуть меня — и я не имел бы права жаловаться. Но ты с братскими слезами разделял мои страдания и мучился за меня столько же, сколько за тех, которые ближе всего были к твоему сердцу. Мишель! после всего этого оправдания, которые ты стараешься дать моему мнимому чувству к тебе — непоследовательность и противоречие. В моих чувствах к тебе ничего не переменилось — и если ты в иных письмах моих видел гримасы, то это оттого, что я в самом деле был в судорогах. В одном твоём письме ты несколько абстрактно судил и обвинил меня; я был прав в душе, но, может быть, мог подать повод к недоразуме-

ниям. Такая вещь также не могла развести нас, но довольно объясняться; когда-нибудь подробности можно будет объяснить изустно. Теперь о моем молчании. Я не отвечал тебе с прошлой осени. Мишель! тут рассуждать много нечего. Тут все приходит на случай и на человека. Грановский спрашивал меня тогда, отвечал ли я тебе? «Что ж я мог сказать ему?» Это был мой ответ ему — и теперь тебе. Я заболел потом сильно в Берлине простудным кашлем, который длился у меня долго, уступил было летом, но начался с зимою вновь и мучит меня теперь. Во все это время я и безалаберность были одно и то же. Письмо твое, пришедши с Ефремовым, обрадовало меня. Я собирался отвечать — между тем проехал поперек Европу, собираясь. Из Москвы я не получал давно никаких известий, кроме одного только письма от Грановского, все это еще больше мешает взяться за перо — это уже дело повседневное и ты поймешь его, если оно есть и в твоей натуре. Наконец я увиделся с Варв [арой] Алекс [андровной] и после того, что увидел в письме твоём к ней, не мог не писать тебе, не вывести тебя из заблуждения, которое для меня тяжелее, нежели для тебя. Нет, Мишель! Между нами не становилось никакой стены, никаких перемен не может быть в наших отношениях; не говори о золотой середине — то, что сделала судьба, должно еще больше сблизить нас, потому что она сняла с нас все накидное, разрушила все призраки, а мне показала всю силу твоей дружбы. Мишель! Я хочу верить, что это письмо разогнало твои сомнения; я не люблю объясняться, я всегда надеюсь на мое слово, зачем говорить мне тебе выдумки — ты должен мне верить; дай мне руку и с этих пор все ясно между нами.

Теперь я порасскажу о себе. Мое пребывание в Риме было очень безотраднo, здоровье мое было постоянно schwankend¹. Наконец, на Пасхе я схватил лихорадку и боль в боку; последняя прошла, но первая (она тоже прошла) оставила следы — я еще слаб, хотя поправляюсь с каждым днем с приезда сестры твоей. Мой доктор советовал мне ехать в Эмс, но сегодня, на общей консультации, положено, чтоб я ехал на Lago di Como² и там пил эмсскую воду. Вар-

¹ непостоянно (нем.).

² озеро Комо (ит.).

вара Александровна также намерена туда ехать, а зиму мы думаем провести вместе в Ницце. Эта будущность дает мне теперь силы и заставляет сердце трепетать от радости. Работы я не мог предпринять никакой весь нынешний год — и ужасно отстал. Зиму мы перебалтывали во Флоренции логику с Фроловым. У меня в голове много планов на счет Studieren und Schreiben², но для этого нужно хоть немного здоровья. Зимой хочу приняться за историю философии. Эта часть у меня не отделана (кроме новой), а она важна для логики. Главный вред пребывания вне Германии в том, что не следишь за новыми успехами — а вы в России можете знать о них больше, чем я в Италии. Но теперь я буду близко немецкой границе и надеюсь запастись многим. По-итал[ьянски] совсем читать нечего. За Данта лень приняться, чувствую, что больше будет труда, нежели удовольствия. Для очистки совести и чтобы фамилизироваться с языком, заглядываю в Тассо. Из новых нечего читать совсем. Хотелось бы привезти с собою несколько вещей Фейербаха. [...] Нельзя не удивиться, как глубоко иногда он схватит понятие, и как в другом детски запутается. Он глубокий читатель Гегеля — называет его трезвым между пьяными — но требует дальнейшего хода. При всех его недостатках его весело читать. В нем есть начало жизни, которое веселит. [...]

Но я чересчур расписался; устал. Пора кончать. Ты знаешь Грановского; скажи мне, ради бога, два слова об нем, что с ним делается? Я получил от него письмо в январе, он жаловался на свою слабость — и с тех пор от него ни слова. Я не пишу к нему тоже, поджидая ответа. Если апатия или карманное страдание (которое в определенные сроки находит на всякого ученого человека) мешают ему — ну, еще бог с ним! Но я боюсь, не болен ли он? Напиши мне две строчки о нем. Также о Драшусове, если ты его знаешь. Что делается в литературе? Нет ли какого-нибудь журнала, где б можно было, не пачкавшись, напечатать статью? У меня их много — *в голове*; журнал не шарлатан и не продажный, вот все требование — разумеется, *читаемый*, а то противное хуже двух первых. Лучше оставить статьи в голове.

Барв [ара] Алекс [андровна] тоже собирается пи-

¹ изучения и писания (нем.).

сать к тебе. Я уж в письме к Грановскому объяснил, почему не отвечал на письма Татьяны и Александры Александр [овны] — не смел. Теперь осмелюсь. Но на сегодня для меня довольно. Надеюсь скоро получить от тебя ответ. [...] Твой Н. Станкевич.

112. Е. П. и Н. Г. Фроловым

21 мая [1840]. Рим

Судьбы мои удивительно переменчивы, но — к лучшему. Я уже готовился выехать во Флоренцию, как вдруг по письму Маркова, который описал меня чуть живым, приехал сюда из Неаполя Ефремов и с ним Дьякова. Как ни досадовал я на тревогу, которую мы им наделали, но приезд Дьяковой был для меня неожиданною радостью. За нею последовала другая. Мой доктор (которым я очень доволен), советовавший мне Эмс, теперь переговорил с нею и со мною еще раз и решил, что я могу получить еще больше пользы, не подвергаясь притом переменчивому климату, если проведу лето на озере Комо; я там буду пить привозную эмскую воду с сывороткою. Дьякова тоже намерена туда ехать со мною: она дожидается из Неаполя сына и компаньонки, и мы поедем во Флоренцию. Вы уже знаете ее по моим словам — можете судить, что такое для меня ее общество! я ничего не мог желать больше. [...] Здоровье мое лучше, т. е. лихорадка прошла или обнаруживается иногда на полчаса, но уже всякий порядочный человек в Риме болен теперь лихорадкою. [...] Теперь я ничего не делаю. Вчера и вчерашнего дня взглянули на Петра, Пантеон и Колизей, — я и благословил небо, которое хочет, чтоб образ Рима дружески покоился в душе моей. Сквозь бред лихорадки я не мог, наконец, подумать ни об одном памятнике без тошноты. Колизей зарос еще больше; зелень на нем очаровательна, а небо, которое стало еще темнее, украсило его так, что трудно выйти оттуда: я был рад видеть все это вместе с Дьяковой. Все действует на нее прямо, просто и живо. Благодарю доброго Бенкеда за его участие. Мне не удастся заставить [его] во Флоренции, но я уверен, что он одобрил бы предписание моего доктора. Теперь, по его совету, трут мне грудь свиным салом. Письмо Гра-

новского я получил, благодарю вас, но мне жаль, что вы поделикатились прочесть его — прошу вас вперед поступать без скрупулов. Жаль, что его здоровье незавидно, так же как и университетские отношения. Он писал к графу, но, говорит, в минуту, когда был рассержен и поэтому в горьком тоне, который, может быть, ему не понравится. Но граф, мне кажется, слишком умен для этого и, верно, подорожит Грановским; кроме того, верно, ему не понравится пронырство старых профессоров.

Шевырев поместил в журнале министерства статью, в которой говорит, что в гегелевской философии нет бога; какая отвратительная тварь! я жалею, что здесь нет его, чтоб высказать ему всю истину! Сам говорил мне, что не знает Гёгеля, и смеет говорить так. Иван Киреевский, который вовсе не поклонник Гегеля, взбесился на эту статью. Он читал «Логик» и «Философию религии» и говорит Грановскому, что эти занятия, от которых он давно был отвлечен, доставляют ему много удовольствия. [...] Ваш Н. Станкевич. [...].

113. И. С. Тургеневу

11 июня 1840. Флоренция

Где-то Вы теперь, любезный Тургенев? По расчету, кажется, Вам пора бы добраться до Берлина; если Вы там, то не забудьте спросить на почте о письмах, и это дойдет до Вас. Я получил Ваши письма: одно из Неаполя, другое из Генуи, впрочем со штемпелем «Агона», из чего я заключаю, что оно отправлено позднее, чем написано, и что Вы между тем успели достигнуть благословенных берегов Lago Maggiore, взглянуть на Isola Bella и на грандиозного св. Бармея.

С тех пор, как мы расстались, я не выходил почти из убийственного полулихорадочного состояния. [...] Решено, чтобы я провел лето на озере Комо и там пил привозную эмскую воду. Теперь я еду туда. М-те Diakof, услышав в Неаполе о моей болезни и также не находя надобности оставаться там лето, приехала (Марков перетревожил всех своим письмом) с сыном, и мы вместе пробудем лето. Вы не знаете еще вполне

моих отношений к ней; я говорил только Вам, что все в семействе привыкли видеть во мне брата, потому что я готов был жениться на ее сестре, которая умерла. В Дьяковой я нашел настоящую сестру по-прежнему; ее заботы и участие действуют на поправление сил моих больше всего.

Итак, хоть немножко, хоть мимоходом, хоть на несколько дней Шушины глазки растревожили молодца? «Ох, поживите с наше (так говорят обыкновенно тупые старики) — не то будет». Но я ей благодарен: не то не получил бы нескольких стихов, которые перечел несколько раз с большим удовольствием. [...]

Да! Получил письмо от Грановского: не очень здоров, но жив и работает. Неверов, говорят, сделан цензором в Риге; его должности очень сообразны его положительному, порядочному направлению, соединенному с снисхождением и величайшею добротою. Как хорошо, если бы он пошел вперед постоянно по этой дороге.

У меня в голове много планов, но когда их не было? Собираюсь зимой работать над историею философии. Есть в голове также несколько статей — бог знает, как еще все это переварится. [...]

Надеюсь, что Вы будете мне скоро отвечать. Поспешите, ради бога, — хоть несколько строк! А самое главное, напишите о Вердере. Скажите ему мое почтение, скажите, что его дружба будет мне вечно свята и дорога, и что все, что во мне есть порядочного, неразрывно с нею связано! [...]

Я думаю ехать зимовать в Ниццу... Вердеру надеюсь написать вскоре по получении Вашего ответа. [...] Может быть, через Вас придет он и ответ. [...] Прощайте пока! Будьте здоровы и наслаждайтесь всеми благами науки, искусства и жизни. Ваш Н. Станкевич.

Ефремов сопровождает также меня в пути. Он Вам кланяется и поручает сказать, что Шушу очень часто вспоминала про Вас.

Кому принадлежит 1-я часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которую Вы мне принесли? Она оставлена Маркову впредь до рассмотрения дела. [...]

Говорят (т. е. верно — пишет Грановский), найдено еще много сочинений Пушкина, кои будут изданы в трех томах!!!

Приложение

И. С. Тургенев. [Воспоминания о Н. В. Станкевиче]

Меня познакомил с Станкевичем в Берлине Грановский в 1838 году, в конце. До того времени я слышал о нем мало — помню я, что когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, я спросил его — не «виришплет» ли это Станкевич, — и Грановский, смеясь, представил мне его под именем «виришплетта». В течение зимы я довольно часто видался с Станкевичем, но не помню, чтобы мы вместе ходили на лекции: он брал *privatissima* у Вердера — а в университет не ходил. Станкевич не очень-то меня жаловал — и гораздо больше знался с Грановским и Неверовым, — я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхождения со мною, которое было весьма ласково, как со всеми, но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости. [...] Здоровье его уже тогда было плохо — мы знали все, что он страдает грудью, и к нему ездил доктор Баре (Barez), который обращался с ним очень дружелюбно. (Он был тогда первым врачом в Берлине.) Впрочем, Станкевич много выходил и театр посещал часто, особенно немецкую оперу. Тогда соперничали две певицы: Лёве и Фассман — признаться сказать, обе довольно плохие, — Грановский был поклонником Лёве, высокой и красивой брюнетки, Станкевич предпочитал Фассман, блондинку. Любимцами Станкевича были два комика: Герн и Бекманн. Герн был карикатурист вроде Живокини; у Бекманна было много неподдельного, спокойного юмору. В характере Станкевича было много веселости, и он любил посмеяться. Чаще всего встречал я его у Фроловых. Он почти все вечера проводил у них. Между ним и г-жой Фроловой существовало отношение весьма дружественное. Эта г-жа Фролова (первая жена Н. Г. Фролова, урожденная Галахова) была женщина очень замечательная. Уже немолодая, с здоровьем совершенно расстроенным (она скоро потом умерла), некрасивая — она

невольно привлекала своим тонким женским умом и грацией. [...] Станкевича Фролова очень любила и уважала. Она сходилась с ним во мнениях. Впрочем, я не слышал, чтобы она с ним говорила о философии. Это было дело Вердера, который разговаривать не умел. Раз по уходе Вердера я не мог удержаться и воскликнул: «В первый раз слышу человека!» — «Да,— заметила Фролова,— жаль только, что он с одним собой знаком». Фарнгаген (известный биограф) ходил к Фроловым — он любил выводить на свежую воду Беттину, которая его терпеть не могла и называла его Giftesel¹.

Повторяю, что во время моего пребывания в Берлине: я не добился доверенности или расположения Станкевича; он, кажется, ни разу не был у меня, Грановский был всего только раз — и при мне у них не было откровенных разговоров. Станкевич, помнится, не любил тогда Жорж Санд — а о Белинском отзывался хотя дружелюбно, но несколько насмешливо.. «Ну! — воскликнул он раз, услышав о какой-то либеральной, но глупой выходке,— теперь Виссариона хоть овсом не корми!» Я тогда о Белинском ничего не знал — и помню это слово Станкевича только по милости странного имени: Виссарион — поразившего меня. [...] Вот все, что я помню из пребывания Станкевича в Берлине.

Я встретил его потом в начале 1840-го года в Италии, в Риме. Здоровье его значительно стало хуже — голос получил какую-то болезненную сиплость, сухой кашель часто мешал ему говорить. В Риме я сошелся с ним гораздо теснее, чем в Берлине, — я его видел каждый день — и он ко мне почувствовал расположение. В Риме находилось тогда русское семейство Ховриных, к которым Станкевич, я и еще один русский А. П. Ефремов ходили беспрестанно. Семейство это состояло из мужа (весьма глупого человека, отставного гусара), жены, известной московской барыни, Марьи Дмитриевны — и двух дочерей. Старшей тогда только что минуло шестнадцать лет — она была очень мила и, кажется, втайне чувствовала большую симпатию к Станкевичу, который отвечал ей дружеским, почти оте-

¹ ядовитый осел (нем).

ческим чувством. (Сам он тогда думал о Дьяковой, которая жила в Неаполе и с которой он съехался потом.) Остальных лиц тогдашнего нашего кружка я не стану описывать — Станкевич говорит о них в своих письмах. Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривали памятники и древности. Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал, — но дух его никогда не падал — и все, что он ни говорил — о древнем мире, о живописи, ваянии и т. д., — было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости. Помню я раз — мы шли с ним к Ховриным и говорили о Пушкине — которого он любил страстно, так же как и Гоголя. Он начал читать стихотворение: «Снова тучи надо мною» своим чуть слышным голосом... Ховрины жили очень высоко — в четвертом этаже. Взбираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам — на платке показалась кровь... я невольно содрогнулся — а он только улыбнулся — и дочел стихотворение до конца. Изредка находил на него, однако, страх — как бы предчувствие близкой смерти. Раз, возвращаясь уже вечером в открытой коляске из Альбано, — поравнялись мы с высокой развалиной, обросшей плющом, мне почему-то вздумалось вдруг закричать громким голосом: «*Divus Caius Iulius Caesar*»¹ — в развалине эхо отозвалось будто стоном. Станкевич, который до того времени был очень разговорчив и весел, — вдруг побледнел, умолк и погодя немного проговорил с каким-то странным выражением: «Зачем вы это сделали?» В то время в Риме беспрестанно случались убийства, чуть ли не по одному на день. Говорили даже, что убийцы пробираются на квартиры иностранцев. Станкевич перепугался, приказал устроить у своей двери железные болты и крюки — и баррикадировался с вечера. Раз я его спросил, что бы он сделал, если б вдруг ночью, открывая глаза, он увидел, что какой-то незнакомый человек шарит по его комнате? «Что бы я сделал? — возразил Станкевич. — Самым нежным голоском, чтобы не подать ему даже мысли, что я могу защищаться, сказал бы я ему: «*Carissimo signor ladrone!*» (И Станкевич придал своему голосу самое умоляющее выра-

¹ «Божественный Кай Юлий Цезарь» (лаг.).

жение.) — Carissimo signore! prendete tutto ciò che volete — ma lasciate mi la vita,— per carità!»¹. В Станкевиче была способность даже к фарсу. [...] И в то же время невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. Шевырев в то время был в Риме — и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним — хотя со всеми другими обходился по обыкновению, с педантической самоуверенностью. Станкевич несколько раз осаживал меня довольно круто, чего он в Берлине не делал — в Берлине он меня чуждался. Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких ниш, в которых до сих пор сохранились остатки подземного богослужения христиан в первые века христианства, я воскликнул: «Это были слепые орудия провидения». Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий в истории нет — да и нигде их нет». В другой раз перед мраморной статуей св. Цецилии я проговорил стихи Жуковского:

И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя. —

Станкевич заметил — что плохо тому, кто *по привычке* любит прелесть, да еще в такие молодые годы. [...] Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область Идеала, — никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем. [...] Умер он, как известно, в Новаре; он вместе с Ефремовым и Дьяковой ехал в Северную Италию, на берега Lago di Como.

Станкевич был более нежели среднего роста, очень хорошо сложен — по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел; нос тонкий, с горбинкой, красивый, с подвижными

¹ «Дражайший господин грабитель! — Дражайший господин! Возьмите, что хотите, только оставьте мне жизнь, — будьте милосердны!» (ит.).

ноздрями, губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами; когда он улыбался — они слегка кривились, но очень мило, — вообще улыбка его была чрезвычайно приветлива и добродушна, хоть и насмешлива; руки у него были довольно большие, узловатые, как у старика; во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная distinction¹ — точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. Одевался он просто — носил обыкновенно палку. Ни разу не слышал я от него жалоб на свое здоровье; о болезни своей он говорил не иначе как в шутовском тоне; никогда он не хандрил. Когда я изображал Покорского (в «Рудине») — образ Станкевича носился передо мной — но все это только бледный очерк. (...)

¹ благовоспитанность (фр.).

Примечания

В настоящем издании сделана попытка представить творчество Н. В. Станкевича в нескольких его аспектах. В книгу включены стихотворения, два прозаических произведения и отрывки из писем. Думается, что такой разнохарактерный состав издания может дать наиболее полное представление о том месте, которое занимает Станкевич в истории русской культуры.

Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке.

Издательская судьба творческого наследия Станкевича сложилась непросто. Прозаические произведения: повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т***» и набросок «Три художника» в последний раз издавались в составе книги: Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890. Последнее издание писем: Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840. М., 1914. И лишь стихотворения были изданы в наше время в составе книги: Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.—Л., Сов. писатель, 1964.

Ни собственно литературное наследие Станкевича, ни его переписка не могут на сегодняшний день считаться полностью выявленными и изученными. Несомненно, в архивохранилищах, в частных собраниях, в изданиях XIX века еще будут обнаружены его произведения и письма.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

Бабочка — «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития»;

изд. Анненкова — Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. Биография Николая Владимировича Станкевича, написанная П. В. Анненковым. М., 1857;

ЛГ — «Литературная газета»;

ЛН — «Литературное наследство»;

Переписка — Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840. М., 1914;

Станкевич, изд. 1890 — Николай Владимирович Станкевич. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890.

Имена, встречающиеся в письмах, комментируются лишь при первом упоминании.

Стихотворения

Печатаются по изд.: Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.—Л., Сов. писатель, 1964.

Надпись к памятнику Пожарского и Минина (с. 26). Впервые — Бабочка, 1829, 3 августа, с. 247.

Экспромт (с. 26). Впервые — Бабочка, 1829, 3 августа, с. 247. Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт, переводчик, в 1821 г. потерял зрение. Один из самых любимых поэтов Станкевича, неоднократно обращавшегося к его произведениям.

Луна (с. 26). Впервые — Бабочка, 1829, 10 июля, с. 218—219. Оссиан — легендарный кельтский воин и поэт. По преданию, жил

в Ирландии в III в. Популярности имени Оссиана способствовала талантливая литературная мистификация шотландского писателя Дж. Макферсона, издавшего в 1765 г. якобы найденные им произведения Оссиана.

Стансы (с. 27). Впервые — *Бабочка*, 1830, 4 января, с. 6—7. *Тимпан* — ударный музыкальный инструмент.

Прости! (с. 28). Впервые — *Бабочка*, 1830, 25 января, с. 31.

Отрывки из стихотворной повести (с. 29). Впервые — *Бабочка*, 1830, 22 февраля, с. 63—64. *Веспер* — в древнегреческой мифологии божество вечерней звезды.

Утешение (с. 30). Впервые — *Бабочка*, 1830, 29 марта, с. 103. *Цевница* — свирель, поэтому упоминание Станкевича о струнах — недоразумение.

Весна (с. 31). Впервые — *Бабочка*, 1830, 19 апреля, с. 127—128.

Элегия (с. 33). Впервые — *Бабочка*, 1830, 4 июня, с. 179—180.

Избранный (с. 34). Впервые — *Атеней*, 1880, № 8, с. 118—130. *Перун* — здесь: молния. *Мрежи* — рыболовные сети. *Доблий* — доблестный.

Желание славы (с. 42). Впервые — *Атеней*, 1830, № 8, с. 198. *Мета* — здесь: цель.

Филин (с. 43). Впервые — Северные цветы на 1831 год, Спб., 1830, с. 30—31. Иностраннный оригинал не обнаружен. *Персть* — плоть.

Не сожалея (с. 44). Впервые — *Молва*, 1832, 30 августа, с. 277. *Va, l'homme...* — цитата из трагедии Ж.-Б. Легуве «Смерть Авеля».

Ночные духи (с. 45). Впервые — *Телескоп*, 1831, № 8, с. 470—473.

Песнь духов над водами (с. 47). Впервые — Северные цветы на 1832 год, Спб., 1831, с. 147—148. Перевод стихотворения Гёте «Gesang der Geister über den Wassern».

Кремль (с. 49). Впервые — ЛГ, 1831, 31 января, с. 54.

Бой часов на Спасской башне (с. 49). Впервые — Северные цветы на 1832 год, Спб., 1831, с. 173.

На могилу сельской девицы (с. 49). Впервые — Сың отечества и Северный архив, 1834, № 16, с. 560. Стихотворение было опубликовано без ведома Станкевича, с гневом писавшего об этом Я. М. Неверову 11 мая 1834 г.

Грусть (с. 50). Впервые — ЛГ, 1831, 27 марта, с. 146.

Калмыцкий пленник (с. 51). Впервые — *Молва*, 1832, 16 сентября, с. 297—298. Пародия на многочисленные в то время романтические поэмы-подражания «Кавказскому пленнику» Пушкина. Стихотворение написано при участии Н. А. Мельгунова.

Мгновение (с. 52). Впервые — *Телескоп*, 1832, № 6, с. 173.

К месяцу (с. 53). Впервые — *Телескоп*, 1832, № 9, с. 28—30. Перевод стих. Гёте «An den Mond». Положено на музыку А. Е. Варламовым.

Старая, негодная фантазия (с. 54). Впервые — изд. Анненкова, с. 355—356.

Отшельник (с. 54). Впервые — изд. Анненкова, с. 356—357.

Два пути (с. 55). Впервые — изд. Анненкова, с. 358—359.

Раздумье (с. 56). Впервые — изд. Анненкова, с. 357.

Фантазия (с. 56) Впервые — Денница на 1834 год, М., 1834, с. 21.

Песни (с. 57). Впервые — изд. Анненкова, с. 359—360.

Я. М. Неверову (с. 58). Впервые — Станкевич, изд. 1890, с. 37—38. Издатель, А. И. Станкевич, в примечании пояснил, что Неверов, сообщивший ему стихотворение, «не мог припомнить его вполне» (с. 37). *Неверов* Януарий Михайлович (1810—1893) — один из ближайших друзей Станкевича, впоследствии деятель народного просвещения.

Слабость (с. 58). Впервые — изд. Анненкова, с. 361.

Заветное (с. 59). Впервые — изд. Анненкова, с. 362—363.

Подвиг жизни (с. 59). Впервые — изд. Анненкова, с. 361—362.

На могиле Эмили (с. 60). Впервые — Денница на 1834 год, М., 1834, с. 127—128. О героине стихотворения Эмили Гебель см. письмо Станкевича к Неверову от 14—15 сентября 1833 г. и примеч. к нему. *Миньона* — персонаж романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Стихотворение цитируется в повести И. С. Тургенева «Несчастная», в основе сюжета повести также лежит судьба Эмили Гебель.

Две жизни (с. 61). Впервые — изд. Анненкова, с. 360—361.

«Вздымают ли бури глубокую душу...» (с. 61). Впервые — Поэты кружка Н. В. Станкевича, с. 120—121.

Эпиграммы и шуточные стихотворения

Эпиграмма («Кутейник всех обрек с Парнаса на изгнание...») (с. 62). Впервые — Бабочка, 1829, 2 марта, с. 70. *Парнас* — горный массив в Греции, в древнегреческой мифологии — обиталище муз. *Феб* — в древнегреческой мифологии одно из имен бога Аполлона, предводителя муз.

Эпиграмма («Я знаю свет!...») (с. 62). Впервые — Бабочка, 1829, 9 марта, с. 79.

Эпиграмма («Есть русская пословица одна...») (с. 63). Впервые — Бабочка, 1829, 12 июня, с. 188.

<На Каченовского> (с. 63). Впервые — К. С. Аксаков. Воспоминания студентства (День, 1862, 6 октября, с. 4). *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, профессор Московского университета. *...вывел в кандидаты...* — Студентам, успешно закончившим курс, присуждалась ученая степень кандидата. Ее получил и сам Станкевич.

<На Снегирева> (с. 63). Впервые — К. С. Аксаков. Воспоминания студентства (День, 1862, 6 октября, с. 4). *Снегирев* Иван Михайлович (1793—1868) — историк, профессор Московского университета. *...в три фунта табакерка...* — По окончании курса студенты намеревались в складчину поднести Каченовскому золотую табакерку.

Януарию Михайловичу и Тимофею Николаевичу, отправляющимся наслаждаться жизнью (с. 63). Впервые — Воронежская литературная беседа, Воронеж, 1925, с. 31. Первые две строки — из стихотворения А. В. Кольцова «Совет старца». *Тимофей* — Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, ближайший друг Станкевича. *Строев* Сергей Михайлович (1814—1840) — историк, член кружка Станкевича. *Колоссеум* — помещение для танцев в Берлине. *Квантитет* — здесь в значении философской категории (буквально: количество).

Опять в Берлине (с. 64). Впервые — изд. Анченкова, с. 293. Ашерсон — врач, лечивший Станкевича. Барон Фриш — знакомый Станкевича. Рибопьер Александр Иванович (1781—1865) — русский дипломат. Фроловы — Николай Григорьевич (1812—1855), друг Станкевича, впоследствии муж его сестры Марии, автор неопубликованной биографии Станкевича, и Елизавета Павловна (урожд. Галахова) (ум. 1840), жена Н. Г. Фролова, близкий друг Станкевича. Герт Альберт Леонард (1789—1869) — немецкий комедийный актер. Штих Клара (1820—1862) — немецкая драматическая актриса.

«Профессор будущий! преследуем судьбою...» (с. 65). Впервые — Поэты кружка Н. В. Станкевича, с. 124—126. Адресовано, вероятно, Грановскому. Армидины сады — волшебные сады одной из героинь поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», в них она увлекает рыцаря Ринальдо. Берта — берлинская приятельница Станкевича.

Послание к Я. М. Неверову по случаю печальных звуков, которые он извлекал из мусийского струмента (с. 66). Впервые — Воронежская литературная беседа, Воронеж, 1925, с. 31—32. Штифельпуцер — чистильщик сапог. Гаген фон, Шарлотта (1809—1891) — немецкая комедийная актриса. Фазон и Наполитан — собаки Станкевича. Сарматка — здесь: полька. Арендт — гамбургский врач.

«Дай руку мне, любезный Тимофей!..» (с. 66). Впервые — Переписка, с. 477. Берта — см. выше. Ашерсон и Вольф — берлинские врачи. Гропиус Карл Вильгельм (1793—1870) — художник, предприниматель. Тиргартен — парк в Берлине с многочисленными увеселительными заведениями.

Проза

Несколько мгновений из жизни графа Т*** (с. 68). Впервые — Телескоп, 1834, ч. 21, с. 290—316, с подписью Ф. Зарич. Печатается по изд.: Станкевич, изд. 1890, с. 156—173.

Участь саисского юноши, преждевременно осмелившегося поднять таинственный покров Изиды... — В стихотворении Шиллера «Саисское изваяние под покровом» рассказывается о юноше, пришедшем в египетский город Саис, чтобы познать истину. Мудрец сообщает ему, что истину можно узнать, если снять покров, скрывающий статую богини Изиды, но что делать это нельзя до определенного момента. Хотя юноша был предупрежден мудрецом, он все же снял покров, навсегда потеряв после этого способность чему-либо радоваться.

Скоро вложил он и персты в раны его... — Станкевич использует евангельский образ: апостол Фома, когда ему рассказали о воскресении распятого Христа, заявил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю» (Евангелие от Иоанна, 20, 24—29).

Сый — вечно сущий, бог.

Пастушескую симфонию... — Имеется в виду Шестая, «Пасторальная» симфония Бетховена.

Швейцарская болезнь! — Швейцарцы часто покидали родину, нанимаясь на службу в других странах, поэтому подразумевается, что тоска по родине знакома им более, чем другим.

...с фамилиями... — Здесь: с семьями,

Лик — здесь: церковный хор.

«*Житейское море.*» — из православной заупокойной молитвы.
«*В дому отца твоего обители многи суть...*» — не совсем точная цитата из Евангелия от Иоанна (14,2).

«*Приидите ко мне ближние мои...*» — из православной заупокойной молитвы.

«*Плачу и рыдаю*» — из православной заупокойной молитвы.

Три художника (с. 83). Впервые — изд. Анненкова, с. 373—374. Печатается по изд.: Станкевич, изд. 1890, с. 174—175. Дата написания определяется предположительно на основании письма Станкевича к Неверову от 24 июля 1833 г. Станкевич упоминает здесь о своем произведении, главная мысль которого — «о родстве искусств». Вероятнее всего, речь идет о «Трех художниках». Неверов показал набросок В. Ф. Одоевскому, и тот одобрил его.

Из переписки

Впервые публикация части эпистолярного наследия Станкевича была осуществлена П. В. Анненковым в его книге «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография». М., 1857. Более чем через полстолетия появилось фундаментальное издание, подготовленное А. И. Станкевичем: *Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840.* М., 1914. Издатель, племянник Станкевича, в предисловии к книге предупредил, что и его издание писем не может быть названо полным: многие письма были к тому времени утрачены (с. III). Последующие отдельные публикации писем малочисленны и лишь в незначительной мере дополняют издание, осуществленное А. И. Станкевичем. Оно до сих пор остается наиболее авторитетным. Все письма и отрывки из них печатаются нами по этому изданию, кроме особо оговоренных случаев. В отличие от «Переписки» письма располагаются не по адресатам, а даются в хронологическом порядке, что, как нам представляется, позволяет с большей ясностью и четкостью проследить эволюцию мировоззрения Станкевича, последовательно восстановить главные события его жизни. Даты писем из-за границы даются по новому стилю; даты писем, писавшихся в России, — по старому. Если письмо писалось несколько дней, то приводится лишь дата цитируемой его части. Преимущество при отборе писем для включения в настоящее издание отдавалось тем из них, которые содержали наиболее богатый материал, связанный с воззрениями Станкевича на литературу и искусство.

1. Я. М. Неверову

С. 86. *Генварь* — Станкевич часто шутливо называл так Неверова, которого звали Януарий. О Неверове см. примеч. к стих. «Я. М. Неверову».

Марья Афанасьевна — Дохтурова, воспитательница в семье Бееров, приятельница Станкевича.

Алексей — Беер Алексей Андреевич (р. 1815), приятель Станкевича, студент словесного отделения Московского университета, впоследствии офицер.

Строев — см. примеч. к стих. «Януарию Михайловичу и Тимофею Николаевичу, отправляющимся наслаждаться жизнью».

Ефремов Александр Павлович (1814 или 1815—1876) — бли-

жайший друг Станкевича, был свидетелем его кончины. Впоследствии ученый, доктор философии.

Иван — слуга Станкевича.

Глазунов (Улитин) Николай Николаевич — московский книгопродавец и издатель.

Кох Христофор Вильгельм (1737—1813) — французский историк.

2. Я. М. Неверову

С. 87. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — петербургский актер. Об эволюции взгляда Станкевича на игру Каратыгина см. письмо 34.

Эссекс — персонаж трагедии «Елизавета и граф Эссекс» (по роману «Кенильворт» В. Скотта).

...играли «Валерию»... — пьесу Э. Скриба «Валерия, или Слепая».

Каратыгина (урожд. Колосова) Александра Михайловна (1802—1880) — петербургская актриса, жена В. А. Каратыгина.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — писатель, критик, меломан.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, профессор Московского университета.

Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — историк, этнограф, ботаник, профессор Московского, а впоследствии Киевского университетов.

«Коварство и любовь» — трагедия Ф. Шиллера.

...действовать враждебно. — Неверов незадолго до того переехал из Москвы в Петербург, а между этими городами было исконное полущутливое соперничество.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — критик, публицист, идеолог славянофильства.

Жан-Поль — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825).

3. Я. М. Неверову

С. 88. *Беер* — см. примеч. к письму 1.

Красов Василий Иванович (1810—1854) — поэт, друг Станкевича.

Почека Яков Иванович (1813 — после 1853) — студент словесного отделения Московского университета, впоследствии чиновник.

Ефремов — см. примеч. к письму 1.

...«Баядеру» Гёте... — Имеется в виду баллада Гёте «Бог и баядера».

«Саконтала» — драма древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы.

Шевырев — см. примеч. к письму 2.

Горяинов — сын соседа Станкевичей по имению.

«Пестрые сказки» — сборник произведений В. Ф. Одоевского «Пестрые сказки, с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных учебных обществ, изданные В. Безгласным». Спб., 1833.

Фердинанд — персонаж трагедии «Коварство и любовь».

Рыкалова Аграфена Гавриловна (ум. 1840) — актриса, партнерша П. С. Мочалова.

...издатели...— Издателями «Северной пчелы» были Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч.

«Молва» — газета, издаваемая Н. И. Надеждиным.

«Дон-Карлос» — драма Ф. Шиллера.

Марья Афанасьевна — см. примеч. к письму 1.

...Вронченка перевод...— перевод «Гамлета», осуществленный М. П. Вронченко в 1828 г.

4. Я. М. Неверову

С. 90. «Саконтала» — см. примеч. к письму 3.

Рудый Панько — вымышленный Н. В. Гоголем рассказчик в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

5. Я. М. Неверову

С. 92. *Не бегает черным пуделем...*— В виде черного пуделя явился Фаусту Мефистофель (И.-В. Гёте. Фауст, сцены II и III).

Принцесса Эболи — персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон-Карлос».

6. Я. М. Неверову

С. 94. Красов — см. примеч. к письму 3.

Кистер Федор Иванович (1772—1849) — преподаватель немецкой словесности Московского университета.

Козлов — см. примеч. к стихотворению «Экспромт».

7. Я. М. Неверову

С. 94. Алексей — Беер.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — критик, профессор русской словесности Петербургского университета, меуарист.

8. Я. М. Неверову

С. 95. «Песня Миньоны» — стихотворение Гёте, включенное им в роман «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

...вздорные мои бредни...— Вероятно, речь идет о «Трек художников».

Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869) — писатель, критик.

9. Я. М. Неверову

С. 97. Наталья Андреевна — Беер (р. 1809), приятельница Станкевича. Впоследствии замужем за В. К. Ржевским.

Проклят тот, кто первый осмелился осквернить память чудесной девушки и заставил других усомниться в благородстве Почеки! — Ранняя смерть дочери музыканта Ф.-К. Гебеля Эмилии (ум. 1833) произвела большое впечатление в Москве, особенно в кругах университетской молодежи. В гибели Эмилии обвиняли приятеля Станкевича Я. И. Почеку. А. И. Герцен писал Н. П. Огареву: «Почека обманул Гебелеву дочь, самым гнусным образом обольстил ее, поверг все это семейство в отчаяние, и дочь Гебеля после 5-дневного сумасшествия умерла. Говорят, что и смерть он ей причинил, давши ей лекарство от беременности... Я с просьбою к тебе: прерви с ним знакомство...» (Герцен А. И. Собр.

соч., т. XXI. М., 1961, с. 14). Друзья с трудом предотвратили дуэль Герцена и Печку. Однако люди, более близко, чем Герцен, знавшие Печку, в его виновность не верили. Станкевичем написано стих. «На могиле Эмили». В 1869 г. была опубликована повесть И. С. Тургенева «Несчастливая», в которой получила отражение эта история, основные факты которой до сих пор не ясны.

Гебель Франц Ксавер (1787—1843) — пианист, композитор, преподаватель музыки.

...новая Миньона! — см. примеч. к стих. «На могиле Эмили».

...с Алексеем. — Беером.

...говорят, Г<ерцен> тоже много врал... — см. выше.

«Разбей сосуд клеветника!» — перефразированная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2, VIII).

10. Я. М. Неверову

С. 100. *Я поклонялся бы ей...* — Отношение к М. А. Дохтуровой в кружке Станкевича было двойственным. Белинский называет ее «необыкновенной» женщиной, однако, как и Станкевич, не скрывает своей антипатии к ней (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., 1956, с. 286).

11. Я. М. Неверову

С. 101. *...Вельтмана «Кашей»...* — Речь идет о романе А. Ф. Вельтмана «Кашей Бессмертный».

Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — критик, профессор теории изящных искусств и археологии Московского университета, издатель журнала «Телескоп».

Варламов Александр Егорович (1801—1848) — композитор.

12. Я. М. Неверову

С. 102. *Каченовский* — см. примеч. к стих. <«На Каченовского»>.

Цветаев Лев Алексеевич (1777—1835) — юрист, профессор Московского университета, цензор.

Теплова (в замуж. Терюхина) Надежда Сергеевна (1814—1848) — поэтесса.

13. Я. М. Неверову

С. 103. *Мельгунов* — см. примеч. к письму 2.

Ржевский Владимир Константинович (1811—1885) — родственник Бееров, был близок к кружку Станкевича.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — фольклорист, писатель, брат И. В. Киреевского.

14. Я. М. Неверову

С. 105. *Про «Тассу» я писал не так...* — Станкевич сравнивает три одноименных драматических произведения, посвященных судьбе итальянского поэта: «Торквато Тассо» Гёте, Н. В. Кукольника и М. Д. Киреева.

15. А. А. Бееру

Начало 30-х гг. было временем наибольшей близости Станкевича к семейству Бееров. Об их взаимоотношениях см.: Кор-

илов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.
С. 105. *Теплова* — см. примеч. к письму 12.

16. Я. М. Неверову

С. 106. *«Treize»*. — Полное название: «История тринадцати».

«Насмешка мертвого», напечатанная в «Деннице»... — Повесть была опубликована в «Деннице на 1834 год». М., 1834. Позднее вошла в «Русские ночи» под названием «Насмешка мертвеца».

Брамбеус. — Барон Брамбеус, псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), писателя, журналиста, ученого-востоковеда, издателя журнала «Библиотека для чтения».

...*Шлегеля 1-й том «Драматургии»*... — Имеются в виду «Лекции о драматическом искусстве и литературе» немецкого критика, поэта и переводчика А.-В. Шлегеля (1767—1845).

...*17-й Бартеlemi, где он говорит о греческом театре*... — Речь идет о романе французского ученого и писателя Ж.-Ж. Бартеlemi (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции». В романе даются сведения о культуре и политическом строе Древней Греции.

17. Я. М. Неверову

С. 106. ...*безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского*... — В № 1 только что начавшего выходить журнала «Библиотека для чтения» было помещено стихотворение Пушкина «Гусар» и стихотворение Жуковского «Норманский обычай».

...*Великий Байрон! Великий Кукольник!* — Станкевич цитирует Сенковского, который писал: «...Я так же громко восклицаю «великий Кукольник!» ...как восклицаю «великий Байрон!»» (Библиотека для чтения, 1834, т. 1, отд. V, с. 37). Эти слова Сенковского неоднократно высмеивал в своих статьях и Белинский.

Надеждин хлопочет по своему журналу... — «Телескопу».

18. Я. М. Неверову

С. 108. *Общество... ограничивается Красовым и Белинским*... — Белинский сблизился с кружком Станкевича осенью 1833 г.

19. К. А. Бееру

С. 108. *Костинька* — Константин Андреевич Беер (ум. 1847), брат А. А. и Н. А. Беер, приятель Станкевича.

20. В. И. Красову

С. 108. *Красов* — см. примеч. к письму 3.

Венециянов (Венецианов) Алексей Гаврилович (1780—1847) — русский живописец.

Едва другая сыщется столица, как Москва! — не совсем точная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 2, явл. 5).

...*«дистанция огромного размера!»* — там же.

21. Я. М. Неверову

С. 109. *Геродот* (ок. 484—425 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории греко-персидских войн».

«Система трансцендентального идеализма» — сочинение немецкого философа-идеалиста Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (1775—1854).

Гизо Франсуа Пьер Гильом (1787—1874) — французский историк и государственный деятель.

Жакоб Библиофил (наст. имя Поль Лакруа) (1806—1884) — французский писатель.

22. Я. М. Неверову

С. 110. *...прочел 6 книг Геродота и «Систему» Шеллинга...* — см. примеч. к письму 21.

23. В. Г. Белинскому

С. 111. *Письмо твое я получил...* — Из переписки Станкевича и Белинского до нас дошло немного: 4 письма Белинского к Станкевичу и около 10 от Станкевича к Белинскому.

Новая система... — Вероятно, Станкевич говорит об увлечении Белинского философией Шеллинга.

24. Я. М. Неверову

С. 112. *Луганский* — точнее «Казак Луганский», псевдоним В. И. Даля (1801—1872).

Пушкин избрал этот ложный род... — Неприятие творчества зрелого Пушкина, особенно его сказок, было свойственно в этот период не только Станкевичу, но и Белинскому. Оно объяснялось особенностями их эстетических воззрений, согласно которым дух фольклорного произведения нельзя воспроизвести. То, что создается в жанрах народного творчества писателем или поэтом, оказывается лишь подделкой. Подробнее об этом: Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 209—210.

Жуковский еще умеет ладить с такими пустяками... — В. А. Жуковский написал несколько сказок, в частности, «Спящая царевна». «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи царевны, Кашеевой дочери».

25. Я. М. Неверову

С. 114. *Греч Николай Иванович* (1787—1867) — писатель, журналист, соиздатель газеты «Северная пчела» и журнала «Сын отечества» (с 1829 г. журнал объединился с «Северным архивом» и носил двойное название «Сын отечества и Северный архив. Журнал литературы, политики и современной истории»).

Жан-Поль — см. примеч. к письму 2.

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883) — поэт. Будущее в значительной мере подтвердило правильность суровой оценки его поэзии, данной Станкевичем, хотя песня на слова Тимофеева «Свадьба» (1834, музыка А. С. Даргомыжского) пользовалась популярностью в демократической среде и стала одной из любимых песен В. И. Ленина.

«Contes de Jacob Bibliophile...» — см. примеч. к письму 21.

26. Я. М. Неверову

С. 115. *...стихотворение Пушкина «Второе ноября»...* — Речь идет о стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...».

27. Я. М. Неверову

С. 116. *Краевский* Андрей Александрович (1810—1899) —

публицист, издатель, в журнале Краевского «Отечественные записки» с 1839 г. сотрудничал Белинский.

Филипп Зарич — псевдоним Станкевича, им подписана его повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т***».

28. Я. М. Неверову

С. 116. *Собрание* — здесь: помещение, где собиралось местное «общество» для балов, маскарадов и т. п.

29. Я. М. Неверову

С. 117. *«Ричард III»* — трагедия В. Шекспира.

Альфонский Аркадий Алексеевич (1796—1869) — врач, хирург, профессор Московского университета.

30. Я. М. Неверову

С. 118. *Шуберт* Франц Петер (1797—1828) — австрийский композитор-романтик. Станкевич был в числе первых в России, кто оценил творчество Шуберта.

Я нашёл эту пьесу... — Далее речь идет о песне Шуберта на слова Гёте «Лесной царь».

«Аббаддонна» — роман Н. А. Полевого.

31. Я. М. Неверову

С. 119. *Любовь* Александровна (1811—1838) и *Татьяна* Александровна (1815—1872) — сестры М. А. Бакунина. *Любовь* Александровна впоследствии стала невестой Станкевича. *Варвара замужем...* — В. А. Бакунина была замужем за Н. Н. Дьяковым. *Геерен* Арнольд Герман Людвиг (1760—1842) — немецкий историк.

Луден Генрих (1788—1847) — немецкий историк.

Сальвадор Жозеф (1796—1873) — французский писатель, историк.

Арсеньев Константин Иванович (1789—1865) — географ, историк, статистик.

32. Я. М. Неверову

С. 120. *«Новик»* — точнее, «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», роман И. И. Лажечникова.

«Милославский» — роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

«Старомодные помещики» — надо: «Старосветские помещики».

33. М. А. Бакунину

С. 121. *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — революционер, анархист. Далее в письмах Станкевич называет его «Мишель». Подробно об отношениях Станкевича и Бакунина см.: Корнилов А. Молодые годы Михаила Бакунина. М. 1915.

Надеждин... передает свой журнал... — см. письмо 34.

Александр Михайлович — Бакунин (1768—1854), отец М. А.

Бакунина. *Варвара Александровна* (1792—1864) — мать М. А. Бакунина.

34. Я. М. Неверову

С. 122. *«Роберт»* — опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791—1864).

35. Я. М. Неверову

С. 124. *«Наблюдатель»* — журнал «Московский наблюдатель». ...он педант. — В 1842 г., уже после смерти Станкевича, Белинский так и назовет свой памфлет на Шевырева: «Педант».

36. М. А. Бакунину

Впервые — ЛН, т. 56 М., 1950, с. 100. Печатается по этому изданию.

37. Я. М. Неверову

С. 125. *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель, профессор Московского университета.

Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — профессор истории и литературы славянских народов в Московском университете.

38. В. Г. Белинскому

С. 126. *...вырезать позорную страницу* — ту, где говорилось об участии Станкевича в издании стихотворений А. В. Кольцова.

39. Я. М. Неверову

С. 126. *Тредьяковский* Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик. Его роль в развитии литературы более значительна, чем это представлялось Станкевичу. О Тимофееве см. письмо 25.

«Лютер на Вормском сейме» — перевод с французского статьи Ф.-О. Мишье, возможно, сделанный самим Станкевичем.

...осмелились пошутить над Шевыревым... — Станкевич имеет в виду заметку Белинского «Просодическая реформа» (Телескоп, 1835, ч. XXVII, № 9), в которой высмеивалась предложенная Шевыревым реформа русского стихосложения путем введения октав.

Просодия — учение о соотношении слогов в стихе.

40. К. А. Бесеру

С. 127. *Премухино* — имение родителей М. А. Бакунина.

Ивашковский Семен Мартынович (1774—1850) — профессор Московского университета по кафедре греческой словесности.

Снегирев — см. примеч. к эпиграмме <«На Снегирева»>.

41. Я. М. Неверову

С. 127. *...одни занятия со мною...* — Станкевича и Бакунина объединил интерес к философии.

42. М. А. Бакунину

С. 128. *Клюшников* Иван Петрович (1811—1895) — поэт, член кружка Станкевича.

43. Я. М. Неверову

С. 129. *«Колдун на Сухаревой башне»* — роман не был закончен И. И. Лажечниковым.

...из времен Иоанна III — роман «Басурман», опубликованный в 1838 г.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — математик, сподвижник Петра I. Имел репутацию чернокнижника.

Аристотель Болонский — Фиораванти Альберти (1415 — ок. 1486) — итальянский архитектор, строитель Успенского собора в Кремле.

45. М. А. Бакунину

С. 131. ...*«Музыкальные страдания Крейсера»*... — Станкевич имеет в виду рассказ Э.-Т.-А. Гофмана «Музыкальные страдания Иоганна Крейсера, капельмейстера».

46. Я. М. Неверову

С. 131. *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт. Оценка поэзии Бенедиктова, данная здесь Станкевичем, совпадает с мнением Белинского, высказанным им в писавшейся тогда же статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (Телескоп, 1835, ч. XXVII, № 11).

...не соглашусь с тобою. — Неверов и тогда и позже защищал поэзию Бенедиктова от критики ее Станкевичем и Белинским. Он писал, что поэзии Бенедиктова присуща «мысль крепкая и светлая, как сталь, которая выковывается иногда в самые нежные грациозные формы, но всегда сохраняет свою силу и твердость» (Журнал министерства народного просвещения, 1836, № 1, отд. VI, с. 193).

47. М. А. Бакунину

С. 132. *Строганов* Сергей Григорьевич, граф (1794—1882) — государственный деятель, с 1835 по 1847 г. попечитель Московского учебного округа.

Дядьковский Иустин Евдокимович (1784—1841) — врач, профессор Московского университета.

«Критика чистого разума» — сочинение И. Канта.

Круг Вильгельм Трауготт (1770—1842) — немецкий философ.

48. М. А. Бакунину

С. 133. ...*философия...* показывает человеку цель жизни... — Мысль о практической целесообразности изучения философии становится одной из главных для Станкевича в это время. См. также письмо 49.

49. Я. М. Неверову

С. 134. ...*экземпляр Канта*... — Изучению Канта Станкевич придавал особое значение, считая, что его философская система — «основание, на котором утверждается новая немецкая философия» (Переписка, с. 337).

50. Я. М. Неверову

С. 134. ...*я варвар в музыке*... — В действительности суждения Станкевича о музыке отличались тонкостью и проникатель-

ностью. Таковы его оценки творчества Шуберта, Бетховена, Россини, опережавшие свое время.

51. М. А. Бакунину

С. 135. *Сологуб* — возможно, Сологуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), писатель.

52. М. А. Бакунину

С. 136. *Барда* — гуша, остающаяся после перегонки при производстве хлебных спиртных напитков. Бардой кормят скот.
...*мой сотрудник по службе*... — Станкевич был почетным смотрителем Острогожского народного училища.

Кронеберг. Иван Яковлевич (1788—1838) — филолог, профессор и ректор Харьковского университета.

54. В. Г. Белинскому

С. 139. ...*последнюю статью о «Московском наблюдателе»*... — Имеется в виду статья Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (Телескоп, 1836, ч. XXXII, <I>, № 5, <II>, № 6).

...*твоя грамматика?* — «Основания русской грамматики» Белинского вышли в свет в 1837 г.

Ваничка — возможно, брат Станкевича Иван Владимирович.

55. Т. Н. Грановскому

С. 139. *Ты в Берлине!* — Т. Н. Грановский был командирован за границу для подготовки к профессуре по кафедре истории Московского университета.

Ромул — легендарный основатель Рима.

Нума Помпилий — полулегендарный царь Рима.

...*в лице ученика своего*... — апостола Иоанна.

Фарисеи — здесь: лицемеры, ханжи.

56. В. Г. Белинскому

С. 141. *Кони* Федор Алексеевич (1809—1879) — писатель, театральный деятель.

...*таинственное* — *кс* — Так подписал свою повесть «Жизнь в мечте» К. С. Аксаков. Позже повесть публиковалась под названием «Вальтер Эйзенберг».

...*он малый умный!* — Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) в ранней молодости был близок к кружку Станкевича и оставил воспоминания о нем.

«*Наблюдатель*» — «Московский наблюдатель».

В. Б. — Виссарион Белинский.

Кто писал о «Ревизоре»? — Очевидно, Станкевич прочитал статью Н. И. Надеждина (Молва, 1836, № 9, с подписью «А. Б. В.»).

Селивановский Николай Семенович (1806—1852) — издатель, владелец типографии, писатель, сотрудник «Молвы».

...*приписана тебе повесть*... — В действительности повесть не принадлежала Белинскому.

Марлинский А. — псевдоним Бестужева Александра Алек-

сандровича (1797—1837); писателя, литературного критика, декабриста.

...очерки его...— «Кавказские очерки» А. Марлинского.

57. Я. М. Неверову

С. 143. ...из надутых повестей Марлинского.— Станкевич имеет в виду так называемые «кавказские» повести А. Марлинского, к которым относятся «Аммалат-бек» и «Мулла-Нур».

58. Я. М. Неверову

С. 143. *Белинский отдыхает у них...*— Белинский в это время гостил в Премухине.

Винкельман Иоаганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк искусства.

...*кесарево кесареви...*— слова Иисуса: «Кесарево кесарю, а божие богу» (Евангелие от Матфея, 22, 15—21).

...*сократическая скромность...*— Древнегреческому философу Сократу приписываются слова: «Я знаю только то, что ничего не знаю».

Фукидид (ок. 460 — ок. 400 до н. э.) — древнегреческий историк.

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк.

Робертсон Вильям (1721—1793) — английский историк.

Минье — см. примеч. к письму 39.

59. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому

С. 146. ...и о другом... — о В. Г. Белинском.

Диоген (304—323 до н. э.) — древнегреческий философ, принадлежал к философской школе циников (киников).

«*Уж не помню...*» — неточная цитата из стихотворения И. И. Козлова «Разбойник».

«*Пора, пора, в рога трубят...*» — неточная цитата из поэмы Пушкина «Граф Нулин».

60. Т. Н. Грановскому

С. 147. *Миллер* Герард Фридрих (1705—1783) — русский историк.

Раумер Фридрих Людвиг Георг (1781—1873) — немецкий историк.

Ранке Леопольд (1795—1886) — немецкий историк.

61. Я. М. Неверову

С. 151. ...его выходка неосторожна...— Речь идет о рецензии Белинского на второе издание «Стихотворений Владимира Бенедиктова» (Молва, 1836, № 8).

62. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому

С. 151. ...*Пушкина журнала...*— Разочарование в начавшем выходить с 1836 г. журнале Пушкина «Современник» испытал и Белинский. В рецензиях на вышедшие номера журнала («Несколько слов о «Современнике», «Вторая книжка «Современни-

ка») Белинский сближает «Современник» с «Московским наблюдателем» в их ориентации в основном на светского читателя.

Межевич Василий Степанович (1814—1849) — критик и публицист, в 1830-е гг. — сотрудник «Молвы» и «Телескопа», затем «Отечественных записок», в 1840-е гг. — «Северной пчелы».

63. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому

С. 153. *Костинька* — Беер.

Анета — Анна Константиновна Ржевская.

Б. — Белинский.

Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831) — немецкий философ-идеалист.

...о запрещении «Телескопа». — Журнал был запрещен за публикацию «Философического письма» П. Я. Чаадаева.

Александр Михайлович — Бакунин.

...ты едешь в качестве учителя. — Поездка не состоялась.

Александр Павлович — Ефремов.

64. Л. А. Бакуниной

С. 155. *Л. А. Бакунина* — см. примеч. к письму 31.

...маменька Ваша чего-то боится и огорчена... — Родителей

Л. А. Бакуниной тревожила неопределенность отношений их дочери и Станкевича. Отец Станкевича медлил давать свое согласие на их брак.

Татьяна Александровна — см. примеч. к письму 31.

65. Л. А. Бакуниной

С. 157. ...по живому образцу... — по образцу характера самой Любви Александровны.

66. Я. М. Неверову

С. 158. *Иван Алексеевич* — Горяинов, знакомый семьи Станкевичей.

Л. — Л. А. Бакунина.

...посажена в монастырь... — Слухи были ложными.

Белинский, кажется, не сойдется с *Краевским*. — О *Краевском* см. примеч. к письму 27.

67. Л. А. Бакуниной

С. 159. *Я теперь на перепутье...* — Станкевич переживал тогда время духовного перелома, трудность для него этого периода усугублялась плохим состоянием здоровья и сомнениями в глубине его чувств к Л. А. Бакуниной.

68. Л. А. Бакуниной

С. 160. ...не верю в значение этих страхов... — Л. А. Бакунина, видимо, смутно ощущала свою начинающуюся болезнь. Она скончалась от чахотки в августе 1838 г.

Даль — см. примеч. к письму 24.

«*Фрейщюц*» — опера К.-М. фон Вебера «Вольный стрелок».

69. Л. А. Бакуниной

С. 162. *Федор* — Федор Константинович Ржевский.

Лангер Леопольд Федорович (1802—1885) — пианист, композитор, преподаватель музыки.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ-идеалист.

70. Я. М. Неверову

С. 163. *...собрался в путь...* — Станкевич уезжал сначала в Удеревку, а затем за границу лечиться.

71. В. Г. Белинскому

Впервые — ЛН, т. 55. М., 1948, с. 418. Печатается по этому изданию.

С. 163. *Миша* — Бакунин.

...все это будет подозрительно. — Станкевич не хотел, чтобы письмо попало в руки родителей М. А. Бакунина, которые не одобряли ни плана отъезда сына за границу, ни горячо поддерживаемого М. А. Бакуниным и его друзьями, в том числе и Станкевичем, плана ухода от мужа и отъезда за границу В. А. Дьяковой (1812—1866), сестры М. А. Бакунина (см. письмо 76).

Саша — сын В. А. Дьяковой.

72. Л. А. Бакуниной

С. 164. *О моем увольнении нет слуху* — с поста почетного смотрителя Острогского народного училища.

Лангер — см. примеч. к письму 69.

Боткин Василий Петрович (1810—1869) — литературный и музыкальный критик, переводчик, писатель, друг Белинского.

Марья Афанасьевна — Дохтурова.

73. Л. А. Бакуниной

С. 166. *...в новой деревне...* — в селе Марок.

Осип Хлестакова — персонаж «Ревизора» Н. В. Гоголя.

Манзони (Мандзони) Алессандро (1785—1873) — итальянский поэт и романист.

74. Я. М. Неверову

С. 167. *Тик* Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель.

75. В. И., Е. И. и Н. И. Станкевичам

С. 168. *...дяденька* — Станкевич Николай Иванович (ум. 1838), брат отца Станкевича. Жил вместе с семьей Станкевичей.

...гоголевский майор Ковалев — персонаж повести Гоголя «Нос».

Любинька — сестра Станкевича, в замужестве Томилина.

«Но уж огни погашены...» — из стихотворения И. И. Козлова «Бессонница».

76. Я. М. Неверову

С. 168. *...настает для нас пора... жизни смирной, посвященной науке...* — Станкевич и Неверов строили широкие планы повышения своего образования за границей. В целом планы были осуществлены.

77. Я. М. Неверову

С. 171. *Мадонна*...— Речь идет о «Сикстинской Мадонне» Рафаэля.

Пименов Николай Степанович (1812—1864) — скульптор. В 1837 г. как получивший большую золотую медаль при окончании Академии художеств был отправлен на казенный счет за границу.

Завьялов Федор Семенович (1810—1856) — исторический живописец и портретист.

...*святая Катерина*...— Описка: на картине Рафаэля св. Варвара.

Корреджио (Корреджо) Антонио Аллегри (1494—1534) — итальянский художник.

Дольче (Дольчи) Карло (1616—1686) — итальянский художник.

78. Станкевичам

С. 173. *Эйльваген* — почтовый дилижанс.

Фридрих II Великий (1712—1786) — прусский король.

Фурман — проводник (нем.).

Обер Даниэль Франсуа Эспри (1782—1871) — французский композитор.

«*Цампа*» — опера французского композитора Луи-Жозефа-Фердинана Герольда «Цампа, или Мраморная невеста».

79. А. В. и И. В. Станкевичам, И. П. Ключникову, В. Г. Белинскому и М. А. Бакунину

С. 175. ...*маркиз XVIII-го столетия*...— шутовское обращение к брату Ивану Владимировичу (1820—1907).

Александр Владимирович — Станкевич (1821—1912).

Иван Осторожный — Ключников.

Плясание св. Исаакия... Отче Наш... — По христианской легенде, св. Исаакию явился бес в облике бога и, заставив святого плясать, довел его до того, что св. Исаакий забыл молитву «Отче наш», которую ему пришлось учить заново.

Вердер Карл (1806—1893) — профессор Берлинского университета, ученик и популяризатор Гегеля, приятель Станкевича и Грановского.

Ранке — см. примеч. к письму 60.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик, физиолог.

Габлер Георг (1786—1853) — немецкий философ-гегельянец, профессор Берлинского университета.

«*Энциклопедия*» — «Энциклопедия философских наук» Гегеля.

Ганс (Ганц) Эдуард (1797—1836) — немецкий юрист, последователь Гегеля, доцент Берлинского университета.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, математик, общественный деятель.

80. В. А. Дьяковой

С. 179. ...*моей ошибке*...— К тому времени Станкевич понял, что никогда не любил Л. А. Бакунину.

...*решилась освободиться от этих оков*...— об отношениях В. А. Дьяковой с мужем см. письмо 76.

81. А. П. Ефремову

С. 181. *Приезжай к нам...*—А. П. Ефремов действительно вскоре присоединился к друзьям.

82. Л. А. Бакуниной

С. 182. *...Мендельсона зятя...*—зятя немецкого композитора Ф. Мендельсона-Бартольди (1809—1847).

Фарнгаген (Фарнгаген) фон Энзе Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель, дипломат, публицист. Проявлял большой интерес к русской литературе. В дневниках Фарнгагена немало упоминаний о Станкевиче. В 1857 г., по-видимому, при содействии Фарнгагена, в «Ежегоднике» Энциклопедического словаря Брокгауза была опубликована статья о Белинском, в которой содержалось первое в западноевропейской печати упоминание о Станкевиче.

Спонтини Гаспаре (1774—1851) — итальянский композитор, дирижер, педагог. С 1820 по 1841 г. — главный музыкальный директор Берлина и придворный дирижер.

83. А. В. и И. В. Станкевичам

С. 183. *Глюк* Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор, дирижер, органист, скрипач. Ему принадлежат оперы «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде». Судя по рассказу Станкевича, он слушал «Ифигению в Тавриде».

Готто Генрих Густав (1802—1873) — немецкий историк и эстетик, профессор Берлинского университета. Принимал участие в издании сочинений Гегеля.

«*Норма*» — опера итальянского композитора В. Беллини (1801—1835).

84. Станкевичам

С. 184. *Фроловы* — см. примеч. к стих. «Опять в Берлине».

Рашель — Варнгаген (Фарнгаген) фон Энзе (урожд. Левин) Рашель (Рахель) (1771—1833) — немецкая писательница, хозяйка литературно-политического салона, жена К.-А. Варнгагена фон Энзе.

85. Л. А. Бакуниной

С. 185. *Александра Андреевна* — сестра Л. А. Бакуниной.

86. А. В. Станкевичу

С. 187. *...в братьях и сестрах...*—У Станкевича было три брата и четыре сестры.

87. Т. Н. Грановскому

С. 188. *Тимофей мой, Тимофей...*—Станкевич пародирует «Русскую песню» («Соловей мой, соловей...») А. А. Дельвига.

«*Схватить ее, прижать ее...*» — Станкевич перефразирует отрывок из «Песни Маргариты» («Фауст» Гёте) в переводе Д. В. Вeneвитинова.

Варвара — В. А. Дьякова.

...сказали все отцу и матери...—о том, что Станкевич не любит Л. А. Бакунину. Сама она так и не узнала об этом.

88. Л. А. Бакуниной

С. 190. *Лонлакей* — проводник, нечто вроде современного экскурсовода.

Шредер-Девриен (Девриент) Вильгельмина (1804—1860) — немецкая оперная певица.

«*Весталка*» — опера Г. Спонтини.

«*Гугеноты*» — опера Дж. Майербера.

89. Станкевичам

С. 191 *...великого герцога...* — Карла Августа, герцога Саксен-Веймарского (1757—1828).

90. Л. А. Бакуниной

С 193. *Беттина* — Арним (урожд. Брентано) Елизавета фон (1785—1859) — немецкая писательница, опубликовала свою переписку с Гёте под названием «Переписка Гёте с ребенком». В книге немало недостоверного, вымышленного Беттиной. Общий тон книги повышенно эмоциональный, нередко экзальтированный. Тем не менее «Переписка...» пользовалась большим успехом у читателей. М. А. Бакунин переводил ее на русский язык. Сестры Бакунина, в том числе и Любовь Александровна, очень увлекались личностью Беттины и ее книгой.

91. Е. И. и Н. И. Станкевичам

С. 195. *Тургенев* — Иван Сергеевич (1818—1883).

Розен, барон — гвардейский поручик, знакомый И. С. Тургенева.

...на сгоревшем пароходе... — И. С. Тургенев описал это происшествие в очерке «Пожар на море».

92. Станкевичам

С. 196. *Ганс* — см. примеч. к письму 79.

93. Т. Н. Грановскому

С. 197. *...книг Беттины* — см. примеч. к письму 90.

94. Т. Н. Грановскому

С. 197. *...об обращении Штольберга...* — Штольберг Фридрих Леопольд (1750—1819), немецкий поэт, в 1800 г. принял католичество.

Коцебу Август Фридрих (1761—1819) — немецкий писатель.

Шамиссо Адальберт фон (1781—1838) — немецкий поэт и натуралист.

Ключников — И. П. Ключников.

«*Зимняя дорога*» — стихотворение Пушкина.

Мур Томас (1779—1852) — английский поэт.

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — поэт, беллетрист, критик, мемуарист.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, член моск. философско-литературного кружка «любомудров».

Гарсиа (в замужестве Виардо) Полина (1821—1910) — французская певица.

Гейнефеттер Сабина (1809—1872) — немецкая певица.

Новелло Клара Анастасия (1818—1908) — итальянская певица.

95. В. Г. Белинскому

С. 200. *...смерть ее...* — Л. А. Бакунина скончалась 6 августа 1838 г.

...Карлу... — Карл Антонович Вульферт, муж сестры Станкевича, Надежды.

96. И. В. Станкевичу

С. 200. ...в ней я потерял... — см. примеч. к письму 95.

97. Станкевичам

С. 201. ...это редкий человек... — Станкевич вспоминал Вердера за несколько дней до смерти как одного из тех людей, кто оказал на него наибольшее влияние (см. письмо 113).

98. В. П. Боткину

С. 201. ...оставить отца и мать для своего спасения... — требование, неоднократно встречающееся в евангелиях (например, от Матфея, 10, 37; 19, 29 и т. д.).

...в большой «Логике» — в «Науке логики» Гегеля.

Гиббон — см. примеч. к письму 58.

Зейдельман Карл (1793—1843) — актер, один из крупнейших представителей немецкого сценического реализма в XIX в.

Девриен (Девриент) Карл Август (1799—1872) — немецкий актер.

Тальберг Сигизмунд (1812—1871) — австрийский пианист и композитор.

«Гугеноты» — см. примеч. к письму 88.

99. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 205. Менцель Вольфганг (1798—1873) — немецкий публицист и историк.

«Leone Leoni» — роман Ж. Санд.

Dudevant (Дюдеван) — настоящая фамилия Ж. Санд.

100. Т. Н. Грановскому

Впервые — ЛН, т. 56. М., 1950, с. 128. Печатается по этому изданию.

С. 206. ...многие статьи из «Наблюдателя». — Вместе с письмом от 19 апреля 1839 г. Белинский посылал Станкевичу свои публикации в «Московском наблюдателе», повесть П. Н. Кудрявцева «Флейта» и несколько стихотворений И. П. Ключникова, К. С. Аксакова и др. (см. письмо 101).

101. А. П. Ефремову

С. 206. Ховрин Николай Васильевич — знакомый Станкевича, военный. См. о нем письмо 103.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — журналист, переводчик, в молодости был близок к окружению Станкевича и Белинского, впоследствии реакционный публицист.

102. В. И. и Е. И. Станкевичам

С. 206. ...на пути в Швейцарию! — Станкевич ехал через Швейцарию, направляясь в Италию.

103. Т. Н. Грановскому

С. 207. Кенну — Кени (урожд. Галахова) Мария Павловна, сестра Е. П. Фроловой, была замужем за англичанином Кени.

...бредни фламандской школы... — Станкевич, очевидно, имеет в виду не столько фламандскую, сколько голландскую живопись.

письм XVII в., в которой наиболее распространенным был бытовой жанр. Живописцы изображали на своих картинах уютные интерьеры, сцены простой, добропорядочной жизни.

Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский историк, политический деятель, писатель.

Ховрины — о Н. В. Ховрине см. примеч. к письму 101. Ховрина Мария Дмитриевна (урожд. Лужина) (1801—1877), хозяйка известного московского салона. Белинский писал о ней: «Это премилая и преумная женщина, в которой мне особенно нравится то, что у ней есть живое чувство изящного: она понимает Пушкина и Гоголя» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 367). Старшая дочь Н. В. и М. Д. Ховриных Александра Николаевна (Шушу, в замужестве Бахметева) (1823—1901), писательница. Станкевич был близок с семьей Ховриных в последние месяцы своей жизни.

...батист д'экос — название материи.

104. В. И. и Е. И. Станкевичам

С. 208. *...простор любви вашей к детям...* — Мемуаристы не раз отмечали трогательную любовь Станкевича к родителям. К. С. Аксаков в «Воспоминаниях студентства» отмечал: «Станкевич был нежный сын» (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977, с. 127).

105. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 209. *Септимий Север* — римский император (193—211). *Тит* — римский император (79—81).

Рунд — немецкий художник.

Марков Алексей Тарасович (1802—1878) — русский художник.

Марья Дмитриевна — Ховрина.

106. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 212. *...Сципионовой фамилии...* — одной из знатнейших семей древнего Рима.

Красс Марк Лициний (114—53 до н. э.) — римский государственный деятель, один из богатейших людей своего времени.

...мнимый грот Эгерии. — По легенде, нимфа Эгерия покровительствовала римскому царю Нуме Помпилию.

Храм Петра... — собор Св. Петра в Риме (XVI в.). В его строительстве принимали участие Браманте, Рафаэль, Микеланджело и др.

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк.

Шушу — см. примеч. к письму 103.

107. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 213. *Брингинский* — поляк, пианист.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, друг Герцена.

Огарева (урожд. Рославлева) Мария Львовна (ок. 1817—1853) — первая жена Н. П. Огарева.

108. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 214. *Рени Гвидо* (1575—1642) — итальянский живописец.

109. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 215. *Аполлон еще более мне понравился...*— Речь идет о статуе, известной под названием «Аполлон Бельведерский», работы древнегреческого скульптора Леохара (IV в. до н. э.). Опоненты Станкевича были правы: статуя не принадлежит к лучшим образцам классического искусства Греции.

Винкельман — см. примеч. к письму 58.

Баадер Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий философ.

111. М. А. Бакунину

С. 216. *Варвара Александровна* — Дьякова.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт.

Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ.

Драшусов Александр Николаевич (1816—1890) — приятель Станкевича студенческих лет, впоследствии астроном.

112. Е. П. и Н. Г. Фроловым

С. 220 *Бенкед* — врач.

Скрупулы — упреки совести (франц. — *scrupules*).

...писал к графу...— С. Г. Строганову (см. примеч. к письму 47).

...журнале министерства...— в «Журнале министерства народного просвещения».

Иван Киреевский — см. примеч. к письму 2.

...говорит Грановскому...— Вся та часть письма Станкевича, где сообщается об известиях из России, является пересказом письма Грановского к Станкевичу от 12—24 февраля 1840 г. (Т. Н. Грановский и его переписка, т. II, с. 377—387).

113. И. С. Тургеневу

Впервые — Вестник Европы, 1899, № 1, с. 16—18. Печатается по этому изданию. Последнее из известных нам писем Станкевича.

С. 221. *Св. Барромей* — вероятно, св. Бартоломей.

Говорят... найдено еще много сочинений Пушкина...— Грановский писал об этом Станкевичу 20 февраля 1840 г. (Т. Н. Грановский и его переписка, т. II, с. 384).

И. С. Тургенев. <Воспоминания о Н. В. Станкевиче>

Впервые — Вестник Европы, 1899, № 1, с. 10—16. Печатается с сокращениями по изд.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем, т. VI, с. 389—395.

С. 224. *...в 1838 году, в конце...*— Тургенев ошибается. Его знакомство со Станкевичем состоялось в 1833 г. (см. письмо 91).

Лёве Каролина (1816—1901) — немецкая певица.

Фассман Августа (1808—1872) — немецкая певица.

Герн — см. примеч. к стихотворению «Опять в Берлине».

Бекманн Фридрих (1803—1866) — немецкий актер-комик.

Живокини Василий Игнатьевич (1808—1874) — актер-комик.

Фарнгаген — см. примеч. к письму 82.

...о Белинском отзывался... несколько насмешливо...— Письма Станкевича не подтверждают этого.

«Снова тучи надо мною...» — из стихотворения Пушкина «Предчувствие».

«И прелести явленьем по привычке...» — цитата из вступления к повести в стихах В. Жуковского «Ундина».

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Елизаветина. Н. В. Станкевич и его духовное наследие 3

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА.

Надпись к памятнику Пожарского и Минина	26
Экспромт	26
Луна	26
Стансы	27
Прости!	28
Отрывки из стихотворной повести	29
Утешение	30
Весна	31
Элегия	33
Избранный	34
Желание славы	42
Филин	43
Не сожалею	44
Ночные духи	45
Песнь духов над водами	47
Кремль	49
Бой часов на Спасской башне	49
На могилу сельской девицы	49
Грусть	50
Калмыцкий пленник	51
Мгновение	52
К месяцу	53
Старая, негодная фантазия	54
Отшельник	54
Два пути	55
Раздумье	56
Фантазия	56
Песни	57
Я. М. Неверову	58
Слабость	58
Заветное	59
Подвиг жизни	59
На могиле Эмили	60
Две жизни	61
«Вздыхают ли бури глубокую душу...»	61
<i>Эпиграммы и шуточные стихотворения</i>	
Эпиграмма («Кутейник всех обрек с Парнаса на изгнание...»)	62
Эпиграмма («Я знаю свет!...»)	62
Эпиграмма («Есть русская пословица одна...»)	63
<На Каченовского>	63
<На Снегирева>	63
Януарию Михайловичу и Тимофею Николаевичу, отправляющимся наслаждаться жизнью	63
Опять в Берлине	64
«Профессор будущий! преследуем судьбою...»	65
Послание к Я. М. Неверову по случаю печальных звуков, которые он извлекал из музыкального струмента	66
«Дай руку мне, любезный Тимофей!..»	66

Несколько мгновений из жизни графа Т***	68
Три художника	83

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

1. Я. М. Неверову. 26 марта 1833	86
2. Я. М. Неверову. 2—3 мая 1833	87
3. Я. М. Неверову. 18 мая 1833	88
4. Я. М. Неверову. 20 мая 1833	90
5. Я. М. Неверову. 2 июня 1833	92
6. Я. М. Неверову. 7 июня 1833	94
7. Я. М. Неверову. 11 июля 1833	94
8. Я. М. Неверову. 24 июля 1833	95
9. Я. М. Неверову. 14—15 сентября 1833	97
10. Я. М. Неверову. 15 сентября 1833	100
11. Я. М. Неверову. 12 ноября 1833	101
12. Я. М. Неверову. 1 декабря 1833	102
13. Я. М. Неверову. 15 декабря 1833	103
14. Я. М. Неверову. 17 декабря <1833>	105
15. А. А. Бееру. <1833>	105
16. Я. М. Неверову. 2 января 1834	106
17. Я. М. Неверову. 15 января 1834	106
18. Я. М. Неверову. 11 мая 1834	108
19. К. А. Бееру. 3 июня 1834	108
20. В. И. Красову. 8 июля 1834	108
21. Я. М. Неверову. 19 сентября 1834	109
22. Я. М. Неверову. 16 октября 1834	110
23. В. Г. Белинскому. 30 октября 1834	111
24. Я. М. Неверову. 30 октября 1834	112
25. Я. М. Неверову. 20 ноября 1834	114
26. Я. М. Неверову. 11 декабря 1834	115
27. Я. М. Неверову. 26 декабря 1834	116
28. Я. М. Неверову. 2 января 1835	116
29. Я. М. Неверову. 24 января 1835	117
30. Я. М. Неверову. 5 февраля 1835	118
31. Я. М. Неверову. 9 марта 1835	119
32. Я. М. Неверову. 28 марта <1835>	120
33. М. А. Бакунину. 22 апреля 1835	121
34. Я. М. Неверову. 22—23 апреля <1835>	122
35. Я. М. Неверову. 1 июня 1835	124
36. М. А. Бакунину. 7 июня 1835	124
37. Я. М. Неверову. 14 июня 1835	125
38. В. Г. Белинскому. 31 июля 1835	126
39. Я. М. Неверову. 13 октября 1835	126
40. К. А. Бееру. 26 октября 1835	127
41. Я. М. Неверову. 26 октября 1835	127
42. М. А. Бакунину. 4 ноября 1835	128
43. Я. М. Неверову. 4 ноября 1835	129
44. К. А. Бееру. 6 ноября 1835	130
45. М. А. Бакунину. 8 ноября 1835	131
46. Я. М. Неверову. 10 ноября <1835>	131
47. М. А. Бакунину. 15 ноября 1835	132
48. М. А. Бакунину. 24 ноября 1835	133
49. Я. М. Неверову. 2 декабря 1835	134
50. Я. М. Неверову. 8 декабря 1835	134

51. М. А. Бакунину. 15 декабря 1835	135
52. М. А. Бакунину. 7 января 1836	136
53. Я. М. Неверову. 15 февраля 1836	138
54. В. Г. Белинскому. 30 мая 1836	139
55. Т. Н. Грановскому. 14 июня 1836	139
56. В. Г. Белинскому. 11 августа 1836	141
57. Я. М. Неверову. 18 августа 1836	143
58. Я. М. Неверову. 21 сентября 1836	143
59. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому. 21—22 сентября 1836	146
60. Т. Н. Грановскому. 29 сентября 1836	147
61. Я. М. Неверову. 19 октября 1836	151
62. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому. 22 октября 1836	151
63. М. А. Бакунину и В. Г. Белинскому. 3 ноября 1836	153
64. Л. А. Бакуниной. 20 января <1837>	155
65. Л. А. Бакуниной. 30 января <1837>	157
66. Я. М. Неверову. 11 февраля <1837>	158
67. Л. А. Бакуниной. 15 февраля <1837>	159
68. Л. А. Бакуниной. 22 февраля <1837>	160
69. Л. А. Бакуниной. 3 марта <1837>	162
70. Я. М. Неверову. 17 апреля 1837	163
71. В. Г. Белинскому. <Середина апреля 1837>	163
72. Л. А. Бакуниной. 1 мая <1837>	164
73. Л. А. Бакуниной. 2 июня 1837	166
74. Я. М. Неверову. 6 октября 1837	167
75. В. И., Е. И. и Н. И. Станкевичам. 10 октября 1837	168
76. Я. М. Неверову. 11 октября 1837	168
77. Я. М. Неверову. 22 октября <1837>	171
78. Станкевичам. 26 октября 1837	173
79. А. В. и И. В. Станкевичам, И. П. Ключникову, В. Г. Белинскому и М. А. Бакунину. 29 октября 1837	175
80. В. А. Дьяковой. 3 ноября <1837>	179
81. А. П. Ефремову. <23 ноября 1837>	181
82. Л. А. Бакуниной. 16 декабря 1837	182
83. А. В. и И. В. Станкевичам. 10 февраля 1838	183
84. Станкевичам. 25 февраля 1838	184
85. Л. А. Бакуниной. 8 марта 1838	185
86. А. В. Станкевичу. 8 марта <1838>	187
87. Т. Н. Грановскому. 12 мая 1838	188
88. Л. А. Бакуниной. 20 мая 1838	190
89. Станкевичам. 23 мая 1838	191
90. Л. А. Бакуниной. 24 июня 1838	193
91. Е. И. и Н. И. Станкевичам. 30 июня 1838	195
92. Станкевичам. 18 июля 1838	196
93. Т. Н. Грановскому. 18 августа <1838>	197
94. Т. Н. Грановскому. 27—28 августа 1838	197
95. В. Г. Белинскому. 1 ноября 1838	200
96. И. В. Станкевичу. 1 ноября 1838	200
97. Станкевичам. 18 ноября 1838	201
98. В. П. Боткину. 6 февраля 1839	201
99. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 13 июня <1839>	205
100. Т. Н. Грановскому. 25 июня 1839	206
101. А. П. Ефремову. 8 июля 1839	206
102. В. И. и Е. И. Станкевичам. 24 августа 1839	206
103. Т. Н. Грановскому. 1 февраля 1840	207

104. В. И. и Е. И. Станкевичам. 5 марта 1840	208
105. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 13 марта 1840	209
106. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 19 марта <1840>	212
107. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 26 марта <1840>	213
108. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 5 апреля <1840>	214
109. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 7 апреля <1840>	215
110. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 11 апреля <1840>	216
111. М. А. Бакунину. 19 мая 1840	216
112. Е. П. и Н. Г. Фроловым. 21 мая <1840>	220
113. И. С. Тургеневу. 11 июня 1840	221

ПРИЛОЖЕНИЕ

И. С. Тургенев. <Воспоминания о Н. В. Станкевиче>	224
ПРИМЕЧАНИЯ	229

Николай Владимирович Станкевич

ИЗБРАННОЕ

Редактор Т. М. Мугуев

Художественный редактор Г. В. Шотина

Технический редактор Л. А. Фирсова

Корректоры Т. А. Лебедева, Л. М. Логунова,

Л. В. Конкина

ИБ № 2333

Сдано в набор 23. 03. 82. Подписано в печать 18. 08. 82, А06181. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 13,44. Усл. кр.-ртт. 13,76. Уч. изд. л. 12, 56. Тираж 300.000 экз. (1-ый завод 1—100 000 экз.). Заказ 1189.

Цена 80 б. Изд. нзд. ЛХ—231.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано с матриц ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна» на Книжной фабрике № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

